

Николай Углов

ГОДЫ БЕЗВРЕМЕНЬЯ

*Сломанные судьбы,
но несломленные люди!*



Николай Углов

**Годы безвременья. Сломанные
судьбы, но несломленные люди!**

«Издательские решения»

Углов Н.

Годы безвременья. Сломанные судьбы, но несломленные люди! /
Н. Углов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837413-5

Началась война. Отец главного героя — офицер Красной армии, будучи раненым и обмороженным, попал к немцам в плен. Ему дали 10 лет лагерей. Жену с двумя малолетними детьми сослали в Сибирь. Семья терпит невероятные трудности — голод, холод, побои и унижения от комендантов. От гибели семью спасает первая учительница малышей и помещает в больницу, а затем в детдом. Герой полюбил чтение книг и заводит дневник, где описывает все события, которые легли в основу книги.

ISBN 978-5-44-837413-5

© Углов Н.
© Издательские решения

Содержание

Аннотация к книге «Годы безвременья»	6
Глава 1	7
Детство в Кисловодске	8
Глава 2	12
Немцы в городе	13
Глава 3	19
Госпитали в Кисловодске	20
Глава 4	23
После оккупации города	24
Глава 5	27
В Сибирь – на ссылку!	28
Глава 6	33
Лютый год	34
Глава 7	39
Испытание продолжается	40
Глава 8	44
Голод	45
Глава 9	49
Трясина	50
Глава 10	54
Агония	55
Конец ознакомительного фрагмента.	56

**Годы безвременья
Сломанные судьбы,
но несломленные люди!
Николай Углов**

© Николай Углов, 2017

ISBN 978-5-4483-7413-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Аннотация к книге «Годы безвременья»

События развиваются в довоенном Кисловодске. Началась война. Отец главного героя – офицер Красной армии, будучи раненым и обмороженным, попал к немцам в плен. Ему дали 10 лет лагерей в Норильске. Жену с двумя малолетними детьми сослали в Сибирь. Семья терпит невероятные трудности – голод, холод, побои и унижения от комендантов. В зоне гибнут тысячи людей. От гибели семью спасает первая учительница малышей (депутат райсовета) и помещает в больницу, а затем в детдом, куда обычно не принимали детей «врагов народа». Герой полюбил чтение книг и заводит дневник, где описывает все события, которые легли в основу книги.

Сломанные судьбы, но не сломленные люди – вот подходящее сравнение тех жестоких времён!

Глава 1

Детство в Кисловодске

Дом, в котором я родился, находится на краю города Кисловодска в конце улицы Революции. Он и сейчас носит №116 – просто удивительно! Маленький приземистый домик с подвалом построил бедный казак дед Филипп до революции из камня, который ломал близ горы Кабан и возил на тачке. По этой улице в девятнадцатом году уходили в горы красноармейцы, отступая под напором белоказаков. Голодные, оборванные, злые, с воспалёнными глазами, они медленно шли по улице (раненые на бричках) в сторону горы Кабан. Их цель была – перевалив через Юцу, соединиться с нашими в Нальчике.



Фото 1890года. Дед Углова – казак Углов Василий Николаевич с сёстрами. Слева – Аграфена, справа – Ефимия.

По этой же улице через некоторое время ворвались на конях в город уже весёлые, шумливые, разгорячённые короткой схваткой на Белой речке красноармейцы. И с тех пор улица стала называться именем Революции. Забегая вперёд, скажу, что и в 1942 году по этой улице отступали в горы небольшие части Красной армии, когда им немцы отрезали путь на Минводы.

В предвоенные годы мать работала санитаркой в санатории, а отец здесь же десятником. К санаторию пристраивали большой шестигранный корпус, прозванный в народе «гайкой». Часто приезжал на строительство сам Орджоникидзе (его именем и назвали впоследствии санаторий). Строительство санатория начали 1 апреля 1936г., а первых отдыхающих приняли уже в 1938г. Мать и отец работали много, задерживались, и нашим воспитанием занималась строгая бабушка Капитолина. Мы с братом Шуркой и сестрёнкой Валеёй целыми днями играли, лезли, куда не следует, дрались и бабушка постоянно разнимала нас, шлёпала, ничего не разрешала трогать, никуда не пускала и т. д. Вечером приходил отец, сажал меня на шею, я ему

рассказывал «о проделках бабки», и мы шли в сад (а он у нас был большой), где отец угощал меня чем – нибудь вкусным. В то время в садах у всех росли и прекрасно плодоносили крупные персики, абрикосы, груши, яблоки, вишни, черешня и французские сливы – сейчас и в помине нет такого. Или мелкота, или совсем перестали родиться отменные фрукты. Бабушка Капитолина часто уходила в горы собирать кизяки – сухие коровьи «лепёшки». Коров держали почти в каждом дворе и кизяками тогда топили печи, т. к. дрова и тем более уголь были в страшном дефиците. Летом она собирала в горах всевозможные травы, осенью – шиповник и боярышник. Как только бабушка уходила в горы, отец сразу покупал нам мёд или халву и мы все пировали. Но всё – таки мы все однажды «попались» бабке, она кричала на весь двор на отца и мать:

– Сладкоеды! Ну, вы-то бы, взрослые, постыдились! В доме ни гроша!

Отец и мать побаивались Капитолины и молчали. Баба Капитолина была просто влюблена в горы. Она уходила на весь день и потом часто рассказывала, как хорошо в горах. Там была уйма цветов, перепелов и змей. Она ходила в горах и стучала, шуршала палкой впереди себя, отпугивая змей. Ей постоянно встречались охотники, обвешанные, как пулемётными лентами, десятками перепёлок. Наш сосед Старков косил сено для коровы, бычков и двух ослов на горе Кабан. Он рассказывал:

– Какая красотища в горах! Трава выше пояса, родники, тучи перепелов. Утром начинаю ворошить сено – выползают десятки чёрных и серых гадюк. А в распадках все деревья облеплены коричневыми майскими жуками. Как гроздь винограда! Тряхнёшь дерево – они как град на голову посыпятся!

Практически в каждом саду кисловодчан выращивались вкуснейшие огромные помидоры и маленькие «пупыри – огурцы», которые солили на зиму бочками. А сейчас попробуйте вырастить такие овощи! Крупные обильные фрукты, экологически чистые помидоры, огурцы, великолепные цветы, перепела, змеи, майские жуки – где это сейчас? Нет их, потому что сейчас ужасная экология от незакрытых урановых разработок в районе города Лермонтова, химкомбинатов Невинномысска и Будённовска (нас гробят «кислые дожди»), а также от десятков тысяч автомашин. Колорадский жук, клещи, тля, другие вредители – даже комары появились в Кисловодске! А амброзия и ядовитый барщевник в курортном парке и окрестностях? От них у детей и взрослых бывают ожоги и нарывы! Вся эта гадость от деятельности человека. Мы сгубили природу!

Подолгу и часто у нас бывали в гостях две другие бабушки Оля и Фрося – сёстры Капитолины. Они жили вдвоём в станице Каменноосткой и, кроме нас, у них никого не было. Всегда привозили нам, ребятне, много всяческих гостинцев, подарков. Бабушка Оля привозила всегда дары леса: вкусные шишки, орехи, лесные груши – дички и яблоки. Всё это она собирала в лесах Кабарды. А баба Фрося приезжала всегда румяная, весёлая и с шутками, прибаутками развязывала мешок и выпускала живых, нарядных и красивых петухов и кур. Цветастые крупные петухи, встряхнувшись, начинали громко кукарекать, приводя нас в неопикуемый восторг. Постепенно у нас образовалась группа из 15 – 20 птиц, которые проживали в сарайчике, сделанном отцом для них в саду и на которых мы любовались часами. Мать часто просила бабу Капитолину зарезать одного – двух петушков, но скуповатая бабушка всё откладывала это мероприятие. Как – то ночью мы проснулись от стука и крика и выскочили на остеклённую веранду. Баба Капитолина, полураздетая, открыв форточку, стучала по полу кочергой и громко кричала в сад:

– Володя, да проснись же! Воры! Бери ружьё! Стреляй!

Мы все трое детей, дрожа от страха и озноба, тоже барабанили ладошками по стёклам и громко кричали по совету бабушки, зовя отца и мать, хотя прекрасно знали, что они ещё вчера уехали к бабушке Оле и Фросе. В саду орудовали неясные тени, кудахтали куры и басовито «матерились» наши великолепные петухи, исчезая в мешках воров, не обращавших никакого внимания на угрозы бабки Капитолины. Воры, как я теперь понимаю, были местные

соседи и прекрасно знали, что никакого ружья у нас нет, а отец уехал. Так мы распрошались с красивыми петушками и долго сожалели и плакали об их судьбе. А бабушка ворчала:

– Проклятые воры! Чтобы они обосрались! Дура я, дура! Лучше бы лапши детям из петушков наварила!

В Кисловодске в то время проживало 35 – 40 тыс. человек, не было практически асфальтированных дорог, не ходили автобусы, не было больших зданий (только несколько санаториев), люди проживали только в частном секторе. Городок был небольшой, уютный, море зелени и цветов, на улицах не было автомобилей, люди ходили пешком, а грузы перевозились на лошадях и осликах. Паровозы, приходящие на железнодорожный вокзал в центре города, разворачивали в обратную сторону вручную по рельсам на большом круге (там, где сейчас привокзальная площадь). В своё время город начинал строиться с горы Пикет, где стояли казаки. Вниз от Пикета начиналась старая часть города, где проживали русские и грузины, а вверху над этой частью города – армяне (сейчас «Армянский посёлок»). Дальше – западнее был район Изрюм (сейчас Бермамыт; жили кабардинцы и карачаевцы), внизу Центр, на въезде – станция Минутка (жили казаки), на востоке Будённовка (жили, так называемые, «опоимцы») и в северо – западной части города Попова Доля (жили, в просторечье, «мужики»).

Сразу же за нашей улицей через гору находилась широкая безлесная долина или балка, которая называлась Свиной (сейчас там кладбище). В этой балке была городская свалка, и всегда там находилось много свиней, ковырявшихся в мусоре. А тогда свиней выращивали практически в каждом дворе. На склонах балки мы с отцом часто корчевали пни на растопку. Лес находился в самом углу балки (его запрещали рубить, но всё равно тайком вырубались все окрестные леса вокруг Кисловодска), где среди скал протекал ручей, а где – то в пещере там жил медведь. Так пугал меня отец, чтобы я не ходил туда. Как – то я стоял на склоне горы (мы забрались высоко в гору под самый лес), наблюдая, как ловко отец корчет пень и вдруг страшный и неожиданный удар в спину опрокинул меня. Я дико заорал от боли и страха, а отец в несколько прыжков был возле меня, поднял, успокоил, и здорово огрел хворостиной чёрного козла, который, оказывается, шёл во главе стада по своей тропинке, на которой я стоял. Мать наша была семнадцатой в семье и единственным выжившим ребёнком (вот какая тогда была смертность среди детей!). Она была очень красивая женщина, но прихрамывала с детства на одну ногу. Несмотря на это, отец её очень любил и дорожил ею. Отец очень любил ходить на парады, демонстрации. В одной руке он держит флаг, в другой меня. Весь светлый, в белой рубашке с высоким воротником, понизу яркой, навывпуск, подпоясанный тесёмкой, белые брюки, парусиновые туфли – он идёт и громко поёт:

– *Широка, страна моя родная!...*

Я визжу от восторга и счастья, что – то кричу и машу руками, возбуждаюсь до предела и тяну отца, требуя ещё пройти перед трибуной. Вечерами отец, читая газеты, с тревогой говорил о какой – то Германии и войне, но ни мать, ни баба Капитолина не поддерживали разговоров о международных событиях. Но когда приезжали из Георгиевска три отцовых брата – Иван, Пётр и Василий, то разговоров о политике хватало за полночь. Иван, Пётр были такие же высокие, как отец, а дядя Вася был ниже их на полголовы, но также похож на братьев. Все они усаживались в саду за столом, мы забирались к ним на колени и любили слушать их бесконечные споры о международном положении Советской страны.

– Ну, понесло теперь до утра, дипломаты! – ворчала баба Капитолина, притаскивая в сад огромный самовар. Ничего крепче чая братья никогда не пили. Финляндия, Прибалтика, Бессарабия, Япония, Польша, Западная Белоруссия и Украина, Сталин и Гитлер – я постоянно слышал эти слова. Самый рассудительный и старший из братьев Иван часто говорил:

– Небольшая наша война уже идёт и на Западе и на Востоке. Но это только цветочки. Боюсь, ребятки, и нам придётся воевать. Скорее всего, с Англией. Но и Германия, хоть мы и заключили с ней мирный договор, ненадёжна. Она может и с Англией заключить договор

против нас и это будет ужасная война! Впереди Советский Союз ждёт страшное испытание! Дай Бог, нам всё это выдержать и выжить.

Все замолкали, и было страшно от этих слов. Последующие события показали, что Иван был близок к истине.

Отец накопил мне большое количество оловянных солдат, четыре зенитных пушки, по два самолёта, танка и пулемёта. С тех пор военные баталии занимали меня часами.

– Петька, бей из пулемёта! Справа конница! Заходи сзади! Петька, бомбят! Держись!

– крик стоял в комнате во время сражений. Я мог, выдумывая варианты, часами самозабвенно играть один со своим выдуманным главным напарником – Петькой.

В то время практически не было никаких средств информации (интернета, телевидения, радио, телефонов, а газеты выписывали единицы) и поэтому основным источником новостей был... базар. Там люди обменивались новостями, прислушивались к грамотным и знающим людям, а потом «разносили» всё это по домам. Базар в Кисловодске находился в районе улицы Кольцова, Подгорной. Там сейчас стоит большой дом. На базар приезжали со всех сёл. Торговали скотиной, лошадьми, осликами, свиньями, птицей, зерном, картофелем и овощами. А из соседних аулов приходили парни – карачаевцы наниматься копать огороды, косить сено, выполнять хозработы горожанам. Это был своеобразный рынок труда. Стоят, сидят, лежат на соломе ребята (в основном почти всегда босые), а на бирках на груди и на пятках мелом, углём нарисована цифра – это цена за сотку вскапывания земли, косьбы, сгребания, копнения и т. д. Всё это мне рассказывали бабушки.



Отец (Владимир Иванович) и мать Анна Филипповна Углова. Фото 1935 года.

Глава 2

Немцы в городе

*Он даже мёртвый страшен был живым
Когда они писали мемуары
Не веря, что прошедшее есть дым
Что выжили, что как-никак, а стары
Академик Захаров*

Разговоры на базаре становились день ото дня всё тревожнее и беспокойнее. Базар просто гудел! Люди собирались кучками, спорили, кричали, что – то доказывали друг другу. И вот в одно утро чрезвычайно встревоженная баба Капитолина, придя с рынка, с порога закричала:

– Нюся, Володя! Война!

Было воскресенье и все мы находились дома в саду. Отец подбежал к бабушке и закричал:

– С кем?

– С немцами

– заплакала бабушка и прижала нас к груди. Отец сразу куда – то засобирался. Мать спросила:

– Ты куда?

– В военкомат!

– ответил отец. Мать взволнованно закричала:

– Зачем? Мы – что, надоели тебе? Когда надо – призовут. Зачем самому лезть на рожон?

Отец сухо ответил:

– Это не обсуждается.

Мать расплакалась. В первые три дня войны в городе записались добровольцами на фронт более 700 человек. А всего на войну ушло 10,5 тысяч кисловодчан – четвёртая часть населения города! Половина их них не вернулась назад! А вскоре мы провожали отца на войну. Мы все семеро (приехали бабушки Оля и Фрося) шли с отцом к месту призыва. Мама и три бабушки плакали, а нам – детям, не хотелось. На товарной станции было много народа, шумно, играли гармони. Отец попрощался со всеми, крепко прижал меня к себе и на своих губах я ощутил его солёные слёзы. Высокий, сухой командир выкрикнул:

– Углов!

– Я!

– ответил отец и стал в строй, сутулый, в фуфайке, какой – то поникший и родной мне. И тут я понял, что это всерьёз, что отец уходит от меня, может быть, навечно и я закричал-заплакал вместе с Шуркой и Валечкой:

– Папка, не ходи туда! Иди к нам! Вернись!

Рыдая, мать упала в обморок, нас всех еле оттащили и увели домой. Ивана и Петра на проводах не было, т. к. их призвали в Георгиевске на день раньше и они так и не успели попрощаться с нами. Дядя Вася незадолго перед этим уехал на остров Сахалин – его назначили директором рыбного завода в городе Оха (он был партийным). Скоро получили от отца письмо, где он сообщал, что «воюет с румынами в чине старшего лейтенанта, руководит взводом пулемётчиков и сам лично уже убил несколько солдат, коней из крупнокалиберного пулемёта; стреляет и по более крупным целям». С уходом отца на фронт в доме стало как – то тихо, мы все посерьёзтели. Мама, часто глядя на нас, плакала, а бабушка вздыхала и зачастила в Красную церковь. Так мы называли Пантелеймоновскую церковь, построенную в 1912 году в районе Ребровой балки и варварски разрушенную большевиками – безбожниками в середине 60 —х годов. В этой церкви крестились, венчались и отпевались все наши родные. В 1995г. там построили часовню, а сейчас там строится Пантелеймоновский храм.

Жить становилось всё труднее, со стола исчезли все лакомства. Мать теперь работала в этом же санатории санитаркой по уходу за ранеными красноармейцами, которые стали поступать с фронта. 8 августа 1941г. в Кисловодск прибыл первый эшелон с ранеными бойцами. В городе на базе санаториев было создано 39 госпиталей на 22 тысячи раненых. Санаторий стал называться госпиталем, ему присвоили №3176. Всего за время войны возвращено в строй более 600 тысяч бойцов (82% лечившихся в нашем городе). Простая арифметика показывает, что около 108 тысяч бойцов Красной Армии стали калеками или умерло в госпиталях и похоронено в районе ул. Цандера. Ужасная цифра! Вечная память вам, наши славные воины! Мать работала по 12 – 14 часов. Приходя домой уставшая, какая – то потерянная, она рассказывала, плача, бабушке Капитолине:

– Ужас, что делается! Сколько бойцов – молодых, здоровых ребят привозят ежедневно и сколько помирает – десятки...Сколько крови, страданий! Как они кричат, мама! Я не выдержу этого! Господи! За что так мучаются люди? Проклятые немцы!

В конце третьего месяца войны пришло известие, что Пётр – младший из братьев, погиб на фронте где – то в Белоруссии. Он так и не женился и не завёл семью до войны. Все три бабушки (приехали Оля и Фрося) три дня ходили в церковь, в доме горели свечи перед иконами, все плакали, вспоминая его. Беда не приходит одна. Через месяц после гибели Петра простудилась, собирая кизяки с нами, моя сестрёнка Валечка и через девять дней скончалась от крупозного воспаления лёгких. Смерть уже ворвалась в наш дом. Затосковала по Валечке, похудела, почернела и слегла наша Капитолина Тарасьевна, да так и не встала больше. От отца пришло известие, что он ранен в руку и ногу (отняли два больших пальца ноги), весь обморожен, лежит в больнице Ростова. В начале лета 1942 года пришло известие, что на Воронежском фронте убит старший из братьев – Иван Иванович. Теперь было ясно, что не напрасно спорили в саду наши дяди и отец о Германии. Она оказалась ещё сильнее, ещё коварнее, опаснее – шапками её не закидаешь. Немцы были уже рядом. По ночам небо над Кисловодском гудело – это немецкие лётчики летели мимо бомбить Грозный и Орджоникидзе (так говорили в госпитале).

Как – то ночью мы проснулись от страшного грохота. В тёмном небе стоял сплошной вой. Вылетали, разбиваясь, стёкла на веранде, истошно лаяли собаки во дворах соседей, заголосили, запричитали обе бабушки (они недавно приехали к нам) и мать.

– Немцы пришли! Нас бомбят!

– кричали бабушки. Но, как оказалось утром, это было не совсем так. Нас двоих полуголых, сонных и насмерть перепуганных детей, мать быстро повела через веранду во двор, чтобы спрятать в подвале. Спускаясь по деревянной лестнице, я глянул в тёмное небо и обомлел. Эта картина осталась в моей памяти навечно. Две яркие параллельные строчки трассирующих пуль летели прямо над нами в сторону Красивого Кургана. Очередь была длинной и непрерывной – это было необычное зрелище. А сзади – за домом, всё так же гремело и бухало. Только утром мы узнали, что прямо над нашим домом на небольшой горке (сейчас туда практически дошло кладбище) наши разместили и спрятали в кустах два зенитных орудия, которые и подняли такой грохот ночью. С той поры они каждую ночь стреляли по немецким самолётам, летевшим в сторону Баку. Мы утром с Шуркой решили посмотреть зенитки. Очень хитро их замаскировали в ёлках! Но вдруг, как из-под земли, перед нами возник пожилой усатый красноармеец и строго сказал:

– Ну-ка, домой, мальцы! Быстро! И чтобы я вас здесь больше не видел!

И добавил уже шутливо:

– А то арестую!

Больше мы туда не ходили. Теперь наш сосед Беляй (он всегда был пьяный), ходил по нашей и соседним улицам с деревянным плоским ящиком со стеклом на плече и кричал:

– Стёкла выбиваем, новые вставляем!

Его охотно приглашали хозяйки, т. к. зенитки добавили работёнки старику Беляеву. Мать ещё больше стала бояться за отца, вестей от него больше не было, а Ростов, где в больнице он лежал, давно заняли немцы. Часто поздним вечером достанет отцову любимую серую рубаху или белую косоворотку, уткнётся в них и плачет тихонько, что – то вспоминая. Белая рубаха до сих пор хранится у нас, ей уже за семьдесят, достаём мы её раз в год, смотрим, вспоминаем, плачем об отце. Я смотрю на последнее фото отца. Он обнимает нас троих детей и с доброй усмешкой смотрит мне прямо в глаза и как бы говорит мне:

– «Не горюй, Коля! Не плачь сын! Ничего уже не вернёшь! Это хорошо, что ты помнишь обо мне. И не жалея меня – не такие уж мы несчастливцы. Жизнь не вернёшь, она одна у человека! Доживи ты достойно, не тревожь и не бери своё сердце напрасными слезами!»

Немцы особо не бомбили Кисловодск, но всё – же раза три были налёты на город. На товарной станции, вокзале и на Минутке около железнодорожного моста упали несколько бомб, полностью разворотило один дом и хату, убило одну женщину и легко ранило, контузило несколько человек. Мы ходили смотреть – было страшно. Но особенно немцы не старались. Они, видно, хотели сберечь санатории для отдыха своих солдат, т. к. были уверены, что курорт они скоро займут. Бабушки Оля и Фрося, когда поняли, что немцы идут на Кавказ, решили пешком идти к нам из своей станицы Каменноострой. По дороге они встречали отступающие отряды бойцов. Легкораненые шли пешком, а тяжелораненые лежали на повозках. Гнали много скота, отары овец. Ехал на быках, осликах и редко на конях, со скарбом нескончаемый поток людей. На них косились, но ничего не говорили. Все были молчаливы, угрюмы и злы. В Кисловодске давно уже началась эвакуация населения и раненых. Ценных заводов и фабрик у нас не было, но некоторые крупные госпитали, здания, вокзал и железную дорогу, а также мост на въезде в город стали минировать. Впоследствии мы узнали, что взорвали только товарную станцию и часть железной дороги, а остальные объекты решили почему – то не взрывать.

И вдруг всё движение прекратилось. Всё затихло. Перестали по ночам бухать две наши зенитки – их уже увезли. Днём и по ночам изредка по нашей улице пронеслись на конях и машинах в сторону горы Кабан последние отступающие чекисты – подрывники. Одну чёрную «эмку» догнал немецкий самолёт и разбомбил за Белой речкой. Люди, рассказывали, спаслись и пошли пешком в горы, а машина сгорела. А потом на целую неделю в городе воцарилось безвластие. Немцы прошли через Минводы и не спешили занимать Кисловодск. Этим воспользовались ушлые люди, и в городе начался грабёж. Сначала робко и по ночам, а затем всё смелея, они начали взламывать продовольственные и промтоварные магазины, а также базы и склады. Мать продолжала ходить на работу в госпиталь и ухаживать за тяжелоранеными, которых в спешке не успели вывезти. Она говорила, что продовольствие, медикаменты, бинты заканчиваются, и весь оставшийся персонал не знает, что дальше делать. Все в городе осмелели и также начали тащить всё подряд. Бабушки Оля и Фрося тоже приносили ежедневно из ближайшего магазина «Станпо» в конце улицы Революции макароны, крупы, муку и сахар (как они спасли этим всех нас!). Этот магазин и сейчас находится там и ему недавно вернули прежнее название. Наши соседи тоже тащили всё подряд, но в основном вещи и мебель из санаториев: столы, стулья, диваны, подушки, одеяла, простыни и др. Как показали дальнейшие события, этот грабёж многим вышел «боком» – они не раз пожалели об этом. Я запомнил, как Беляй по улице нёс огромное зеркало, Он ежеминутно отдыхал.

Как-то соседка Фролова вечером крикнула матери:

– Нюска! Говорят, на товарной станции стоит полная цистерна с растительным маслом и там уже третий день его достают. Пошли бабок туда с вёдрами – может и им нальют. А то неизвестно, что будет при немцах, и как мы будем жить, а масло пригодится.

Бабушки на следующий день чуть свет были уже там с вёдрами. Человек 40 – 50 уже толпилось перед цистерной. Всё кругом было в масле. Двое мужиков, поочередно меняясь,

багром с крючком доставали ведром масло и переливали очередной женщине. Цистерна уже наполовину была опустошена. Дошла очередь и до бабушек – им налили четыре ведра. Они отошли в сторону и разговорились со знакомой. И вдруг один мужик с цистерны закричал:

– Бог ты мой! Тут труп в цистерне!

Оказывается, этой ночью, какой – то мужичок маленького роста пришёл уже, видно, затемно к цистерне. Полез на неё, сорвался вниз и утонул. Или пьяный был, а плавать не умел, или хлебнул при падении, т. к. стенки круглые и скользкие. Труп вытащили и, как ни в чём не бывало, продолжали черпать масло. Все припасы бабушки спрятали в небольшой погреб, который находился в торце веранды и люк которого был замаскирован – на нём стоял огромный старый шкаф. И это нас спасло от голода! 9 августа 1942 года в город вошли немцы. Это случилось тихо и неожиданно. Соседи передавали друг другу:

– Немцы, немцы в городе!

На досках объявлений появились первые распоряжения и приказы коменданта. На улицах начали разъезжать необычные машины и мотоциклы. Солдаты в зелёной форме парами передвигались на велосипедах. Откуда – то появились наши полицаи с белыми повязками на рукавах. Медперсонал санаториев переписали по фамилиям, адресам и велели никуда не выезжать из города. Первое время фашисты не особенно зверствовали. Везде говорили, что будут арестовывать семьи комиссаров, активных коммунистов, командиров Красной армии и ...евреев. И это подтвердилось! Мать принесла с базара (он начал опять работать, и товаров поначалу там было даже больше, чем при советской власти) листовку. Военный комендант Польш через созданный оккупантами Еврейский комитет предъявил ультиматум:

– В срок до 8 сентября 1942 года всем евреям внести контрибуцию в пользу Германии золотом, ценностями и вещами на сумму в пять миллионов рублей.

Ограбив до ниточки евреев, комендант провёл их регистрацию. Они должны были носить на груди специальный жетон – жёлтую шестиконечную звезду Давида. Уплата контрибуции не спасла от гибели еврейское население. Появился второй приказ. Там было написано:

– Приказ евреям города Кисловодска! Всем евреям, как прописанным в городе, так и живущим без прописки, явиться 9 сентября 1942 года в 5 часов утра по берлинскому времени на товарную станцию города. Эшелон отходит в 7 часов московского времени. Цель высылки евреев – заселение малонаселённых районов Украины. Переселению подлежат и те евреи, которые приняли крещение. Не подлежат переселению семьи, у которых один из родителей еврей, а другой русский, украинец или гражданин другой национальности, а также граждане смешанного происхождения. Комендант города Польш.

Около 2 тысяч евреев посадили на 18 железнодорожных платформ и в два крытых товарных вагона. Состав под вооружённой охраной прибыл на станцию Минеральные Воды. И в противотанковом рву, близ стекольного завода, прибывших вместе с евреями из других городов Кавминвод (всего более 6 тысяч человек), расстреляли. Но не все евреи Кисловодска выполнили приказ военного коменданта и об этом ему стало известно от наших подлецов – сексотов. После этого немцы с полицаями стали ходить по дворам проверять, кто где живёт, расспрашивать всё о соседях. Многие поступали подло, предавая друг друга. Желая выслужиться перед немцами, некоторые подонки выдавали евреев и активистов, а то и прямо сводили счёты с неугодными соседями. На базаре начались облавы и в одну из них попали наши обе бабушки. Всех согнали в кучу, выстроили в ряды. Кругом фашисты с автоматами, полицаи (их даже больше), собаки. Долговязый немец кричит на ломаном русском языке:

– Коммиссар, лёутнант, официир, йююде – выходи!

Никто не выходит. Тогда немцы, грубо расталкивая всех, отобрали несколько десятков человек и увели. Местное отделение Абвера (контрразведка) располагалось в особняке, где сейчас находится музей «Дача Шаляпина», а гестапо (начальник Вельбен, его помощник Вебер) у немцев находилось там же, где в своё время зверствовали НКВД – эшники: в здании

городской прокуратуры по ул. Красноармейской. Камеры, пытки и расстрелы осуществлялись по соседству – в мрачном трёхэтажном кирпичном здании в центре города по пер. Сапёрному. Там и сейчас находится структура ФСБ.

Я в 1964 – 1965г. работал техником в Управлении главного архитектора г. Кисловодска, которое располагалось на третьем этаже этого здания, а два нижних занимало Управление КГБ. Теперь ФСБ занимает весь огромный корпус. Для чего? Что им делать сейчас в Кисловодске? Ладно – были сталинские времена. А теперь? Нет ответа... Ну, Бог с ними. Вот что скажу. С балкона третьего этажа, который выходил во внутренний двор, открывалась мрачная картина. Глухой дворик полумесяцем был вымощен булыжником, со всех сторон огромные 20 – метровые каменные подпорные стены превращали двор в колодец, а рядом с подпорной стеной находился канализационный люк без крышки (только решётка). Пожилой геодезист УГА Иван Семёнович Зозуля рассказывал мне (мы стояли на балконе):

– Вот в этот двор после пыток в подвалах, гебисты выводили несчастных, ставили лицом к подпорной стене и ножами расстреливали. Кровь стекала вот в тот канализационный колодец с решёткой. После расстрела трупы заключённых куда – то увозили на машинах, а кровь смывали из шланга водой.

Другой его напарник – геодезист Иван Струсь добавлял:

– Да, Николай, мне тоже об этом мой отец рассказывал. Они жили тогда вот в этом доме напротив и по ночам слышали выстрелы. Много лет это продолжалось. Все так боялись попасться на глаза НКВД-эшникам!

Так вот, немцы продолжили уничтожение людей в этом здании. Затем, когда поток арестованных возрос, их стали вывозить за город и расстреливали у реки Подкумок – выше мебельной фабрики. Все говорили, что немцы мстили за партизан. Как мы узнали впоследствии, 1 августа 1942 года в городе был создан партизанский отряд имени Лермонтова. Партизанский отряд действовал до 11 января 1943 года (день освобождения Кисловодска от фашистов) и насчитывал более 70 бойцов. Первое время бойцы отряда, стараясь не привлекать внимания немцев, в городе не проводили никаких акций и спокойно проживали в хатах на окраинах города. Собираясь в балках за городом, отряд проводил разведывательно-диверсионную работу, помогал эвакуации в Кабарде, истреблял десятки полицейских и бандитов – мародёров, переправил через перевалы в Грузию несколько тысяч голов скота. В одном из районов отряд попал в засаду и немцы узнали, что партизаны из Кисловодска. В городе начались массовые аресты и расстрелы. Немцы с полицейскими ходили по улицам, стреляли собак, обыскивали дома.

Как – то холодным осенним днём калитка распахнулась. Мы обомлели: во двор ввалились два огромных фрица в зелёной форме. Мы с Шуркой от страха присели. Один немец наставил автомат на нас, закричал:

– Пук!

и громко захохотал. Затем он спросил трясущихся бабушек:

– Матка! Курки – яйца?

Они отчаянно замотали головами:

– Нет, нет!

Немцы грубо их оттолкнули, один по пути поддел сапогом пустое ведро. Оно с грохотом покатило по двору. Затем поднялись по лестнице через веранду в комнаты, где была перепуганная мать, ослабились:

– О, русска матка! Хорош, хорош! Зольдатен? Партизан?

Один немец, увидев строго застланную постель с горкой подушек, грохнулся на неё и начал долго раскачиваться на панцирной сетке кровати, громко хохотал и орал:

– Мяхко, мяхко!

Все пять подушек полетели на пол. Затем они успокоились, проверили, пошарили все шкафчики, рассыпали крупу и макароны, забрали килограмма два кускового синего сахара. По пути опять немцы подшутили над нами, заржали (мы с Шуркой тряслись от страха в углу двора) и ушли. Этот визит немцев врезался на всю мою жизнь, и я помню его в мельчайших деталях! Мы долго не могли прийти в себя, а бабушки весь вечер стояли на коленях перед иконами и благодарили Бога за спасение.

Сразу после оккупации Кисловодска немцы устроили кладбище для своих солдат прямо в центре города. Там, где сейчас находится памятник Ленину – напротив Коллонады, они выкапывали могилы. Хоронили своих солдат в цинковых гробах – в шинелях, касках, сапогах. Всё это рассказывала матери знакомая, которая жила в двухэтажном доме на горке сверху кладбища.

А над городом всё чаще летали наши самолёты с красными звёздами на крыльях.

И вправду, скоро стал доноситься временами как – бы весенний гром. Мы даже и не догадывались, что наши перешли в наступление. Но немцы вдруг начали эвакуироваться и в спешке покидали город.

Оставшиеся гитлеровцы просто взбесились. В городе с 1 по 8 января, у Кольцо – горы, были произведены массовые расстрелы мирных жителей – всего 322 человека. А всего по официальным советским данным, как мы узнали позже, за период оккупации Кисловодска было уничтожено около 3200 граждан! Вечная память безвинным жертвам этой бойни!

В ночь на 9 января на немецком кладбище вдруг стало светло, как днём. Немцы включили прожектора, многочисленная команда быстро выкопала все гробы. Их погрузили на машины (всего более ста гробов) и увезли. Утром это стало видно – пустые могилы и горы земли. А этим же днём из города на машинах и мотоциклах уехали последние каратели. Всё! Конец оккупации!

Глава 3

Госпитали в Кисловодске

*И видится мне всё в суете мирской: Предсмертный тихий шепот
уходящих
И звонкий крик младенцев приходящих...*

Через два дня в городе появились первые красноармейцы. На всех досках объявлений, на базаре, на стенах домов, на столбах появилось следующее объявление:

*– Постановление Исполкома Кисловодского городского Совета депутатов трудящихся.
14 января 1943 года.*

С сего числа в городе восстановлена советская власть.

Всем гражданам в трёхдневный срок сдать всё имущество государственных и кооперативных предприятий и учреждений. Место сбора – рынок города.

Лица, не сдавшие в указанный срок имущество, несут ответственность по законам военного времени.

Председатель исполкома Н. Митрофанов.

Итак, закончилась оккупация города. Открылся хлебозавод, заработало на полную мощность первое предприятие – Кисловодский Горместпромкомбинат (шили шинели, шапки, обувь – для фронта; одеяла, простыни и наволочки – для госпиталей). Госпитали с первых же дней освобождения города начали также принимать раненых с фронтов.

Мама теперь работала в том же эвакогоспитале №3176.

Бабушки Оля и Фрося опять уехали в свою станицу, и мы с Шуркой теперь были целыми днями вдвоём дома одни. Недалеко от госпиталя, на улице Овражной, мать нашла для обмена дом, чтобы быть ближе к работе: прибегать-присматривать за нами, что с её хромой ногой было немаловажно. Старый наш знакомый – хозяин Старков перевёз и своё, и наше имущество на тележке, запряженной двумя осликами. У него было много живности, и он с удовольствием менялся на самую окраину города. Вдобавок он должен был по договору доплатить две тысячи рублей, но отдал матери только пятьсот, а остальные всячески оттягивал, а затем постарался совсем забыть. Это был красномордый, ещё крепкий старик с толстой женой – купчихой (она постоянно торговала на базаре). У них всего было вдоволь и они не радовались приходу советской власти.

Теперь у нас было только две сотки сада. Мы жили на первом этаже в двух маленьких комнатах с остеклённой верандой, а над нами жила другая семья.

Мать приходила с работы очень поздно, а иногда, когда поступала очередная большая партия раненых, вообще оставалась в госпитале на ночь. Бинтов не хватало, и при госпитале организовали в прачечной их стирку. Стирали сотни метров гнойных, кровавых бинтов на обычных ребристых цинковых досках в ванночке. В прачечной сыро, пар, вонь – бедные женщины иногда выбегали еле живые наружу – подышать чистым воздухом, их рвало. У матери до конца жизни так и остались исковерканные, истёртые до ногтей пальцы на руках. А днём мать ухаживала за ранеными.

– Дети – что творится!

– говорила мать, приходя домой.

– Проклятый Гитлер! Сколько людей он загубил! Молодые – им бы жить, да жить. Умирают, кричат, стонут, проклинаят всех и вся (даже нас), особенно, когда отойдут и увидят, что хирург отрезал ногу или руку. А плачут иногда – как дети!

Мать рассказывала, что всю жизнь ей снится один и тот же сон: сотни раненых в кровавых бинтах, один врач с лампой, бегающий от одного к другому. И стоны со всех сторон:

– Сестричка, возьми нож и дорежь меня! Доктор – пристрели, братец, меня!

Мать со временем привыкла к крови, слезам, крикам, проклятьям. Кормила тяжелораненых, убирала за ними, приносила – уносила *«утку»*, помогала врачам при операциях и перевязках. С умерших бойцов снимала бинты и стирала, стирала их горами, чтобы пустить их в ход заново. Как могла, облегчала раненым страдания, ласковым словом утешала слепых и потерявших руки – ноги. А выздоравливающим бойцам помогала писать домой письма.

А раненых поступало всё больше и больше и скоро даже все проходы были забиты койками. Кто мог в то время догадываться об истинных наших потерях? Я уже упомянул, что по официальной статистике 82% раненых выздоравливали в госпиталях (более 600 тыс. чел.), а около 108 тысяч красноармейцев выписалось из Кисловодских госпиталей калеками или умерло там. Никто не знает точной цифры умерших, но если принять условно третью часть от калек, то и это составляет ужасную цифру: 30—35 тысяч умерло в госпиталях Кисловодска! И до прихода немцев и после, всех погибших бойцов хоронили на гражданском кладбище в районе нынешней улицы Цандера. На этом кладбище были похоронены все наши деды-бабки, а теперь там только бурьян на месте гражданского кладбища.

Проклятые большевики! Почему они по всей стране методично сносили церкви и кладбища? Ни в одной стране мира нет такого! Везде чтут память предков, а у нас *«иваны без совести и памяти»*... Первое Кисловодское кладбище (ещё при царе) было в районе нынешней улицы Ермолова, второе – на Минутке за железной дорогой. Сейчас там стоят многоквартирные дома и люди даже и не догадываются, что живут на костях предков. Разве это правильно и хорошо? Никогда в России не будет счастья, пока мы не изменимся и не покаемся!

Так вот, до оккупации немцами города и практически весь 1943 год наших бойцов хоронили так. Всё, что я расскажу сейчас, жутко и чудовищно (особенно в свете ранее описанных похорон немцев у Колоннады – в шинелях, сапогах, касках и в цинковых гробах). Всё это рассказывали мне бабушки Оля и Фрося, не раз наблюдавшие эту ужасную процедуру – они ходили на это же гражданское кладбище к бабушке Капитолине.

Ранним утром, когда ещё весь город спит, со всех госпиталей тянутся десятки подвод на лошадях с умершими за ночь красноармейцами. Брички накрыты брезентом. Подвозят трупы к общей могиле глубиной 3—3,5 метров. Санитары опускают, как попало, по деревянному жёлобу в могилу в одном исподнем тела, затем санитар багром с крюком укладывает их в ряды. Потом следующий ряд и т. д. Уехали подводы – санитар посыпает трупы известью, опилками и накрывает их брезентом. День и ночь могилы охранялись двумя красноармейцами и никого посторонних близко не подпускали. Наполнилась могила – похоронная команда зарывает её и копает новую. Всего было шесть огромных общих могил размером приблизительно 10 на 30 метров. Они сейчас угадываются левее памятника – мемориала павшим воинам, но почему – то нет об этом даже табличек, как на Пискаревском кладбище. На могилах сейчас цветы, красиво, но нигде, ни слова мы не говорим об этом. Почему? Почему мы продолжаем врать себе? Для чего скрывать правду? Правее мемориала находятся одиночные могилы красноармейцев – это, скорее всего, условность. Я посчитал могилы – их чуть больше тысячи (а умерло – то за тридцать!). Не буду утверждать, может, и в действительности фамилии соответствуют похороненным, тем более от мемориала вниз все захоронения уже 1944 – 1945 годов.

Теперь о мемориале. 9 мая 1970 года в Кисловодске был торжественно открыт мемориальный комплекс на воинской части кладбища в районе ул. Цандера. В Кисловодске началось огромное строительство и власти пригласили из Северодонецка 18 молодых, талантливых архитекторов, которые много сделали для процветания Кисловодска. Талантливая молодёжь вдохнула новую жизнь в наш относительно спокойный и тихий городок – это была «свежая кровь» для строительства. Вот кого надо делать почётными гражданами города, а не бывших высокопоставленных чиновников-коммунистов, как это практикуется сейчас! И здесь всё извратили и накурлесили! Везде ложь!

Заканчивался 1943 год, а рядом с нами и в городе разворачивалась новая трагедия целого народа – карачаевцев. Почему-то об этом стесняются писать, хотя в этой истории нет ничего необычного для того ужасного времени. Когда Красная Армия освобождала территорию, то всегда находились некоторые группы населения, которые не желали этого. Это было и в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, в Бессарабии, в Польше и в РСФСР. Небольшой по численности трудолюбивый народ проживал в основном в горных районах и занимался скотоводством. В первые месяцы войны 15 600 человек было призвано в ряды Красной Армии. Кроме того, на строительство оборонительных рубежей было мобилизовано более 2 тысяч женщин и стариков.

Глава 4

После оккупации города

Пленных у нас нет! Есть предатели!
Иосиф Сталин

С 12 августа 1942 года по 18 января 1943 года территория КАО была оккупирована фашистами. За это время фашисты уничтожили и вывезли 150 тысяч голов скота. Партизанское антигерманское движение было пресечено, чему активно способствовал созданный Карачаевский национальный комитет. После отступления немцев, в январе – феврале 1943 г. этот комитет организовал восстание в Учкулакском районе. После того, как город Микоян – Шахар (современный г. Черкесск) был освобождён, операциями по борьбе с антисоветскими партизанами (в частности, с Балыкской армией в верховьях реки Малки) руководил лично заместитель Берии – Иван Серов. Однако это движение не носило массового характера и не поддерживалось большинством карачаевского народа. После разгона мятежников осудили 449 человек. 9 августа за пределы области было выслано 442 чел. карачаевских «бандглаварей». Обычная и средняя цифра для того времени для всех освобождаемых районов Союза! И вдруг ни с того, ни с сего принимается решение на высшем уровне о депортации целого народа! Депортация началась 2 ноября 1943 г. Было выселено 69 тысяч 267 чел. в Казахстан, Таджикистан, Иркутскую область и на Дальний Восток. Сталин безжалостно раскрыл территорию КАО. Вся территория области (9 тыс. кв. км.) была поделена между Ставропольским краем (Зеленчукский р-н, Усть-Джегутинский), Краснодарским краем (Преградненский р-н) и Грузинской ССР (Учкуланский и Микояновский р-ны). Столица КАО – г. Карачаевск, был переименован в г. Клухори. 14 ноября 1989 года Декларацией Верховного Совета СССР были реабилитированы все репрессированные народы. Политике клеветы, геноцида, режима террора, насилия пришёл конец! 3 мая в Карачаево-Черкессии объявлено Днём возрождения. Именно в этот день пришёл в 1957 году первый эшелон в Черкесск из депортации.

Шло лето 1944 года. Как-то матери не было долго с работы, мы были голодны, сидели на скамейке перед домом, всё глядели в сторону госпиталя (он находился напротив-на горе), ожидая мать. Уже темно на улице и моё терпение заканчивается.

– Пойдём к матери сами

– предлагаю Шурке. Он отказывается. Я пошёл потихоньку один, по серпантину поднялся к первому большому зданию. Красивые аллеи, небольшой свет, тихо играет музыка. Меня кто-то увидел, наклонился, спросил, куда я иду.

– К маме.

– А как фамилия мамы и в каком корпусе она работает?

Фамилию назвал. Меня взяли под руку, долго водили по коридорам, наконец, увидел мать в белом халате. Она удивилась, всплеснула руками, отругала меня, велела подождать, завела в палату. Я от неожиданности опешил, съёжился, испугался, забился в угол. Кругом в белых рубашках и кальсонах лежат раненые, некоторые ходят, другие стонут, третьи забинтованы целиком и лежат молча – не видно лица. Из другой палаты хрипло крикнули:

– Сестра, «утку»!

Мать выскочила, мне заулыбались, начали приглашать:

– Подойди, мальчик, не бойся!

Начали все гладить по голове, обнимать, тискать (каждый, видно, вспомнил о своих детях). Мать зашла, позвала, я упирался и не хотел уходить – даже заплакал:

– Мама! Мне здесь хорошо! Мне всё нравится! Давай останемся!

Все смеялись. Бойцы тоже, видно, полюбили меня и просили мать приводить с собой. С тех пор я стал почти ежедневно ходить в госпиталь и скоро все раненые знали меня. Любил

ходить из палаты в палату, рассказывал что-нибудь, меня постоянно угощали чем-то. Просили рассказать какой-либо стишок, но больше мне удавались песни. Тонким дрожащим голосом, стараясь растрогать бойцов, я вывожу своего любимого «Арестанта»:

*– За тюремной большою стеною, молодой арестант умирал
Он, склонившись на грудь головою, тихо плакал – молитву шептал:
«Боже, боже – ты дай мне свободу. И увидеть родимых детей.
И проститься с женой молодой, и обнять престарелую мать».*

Раненые перемигивались, шутили, но некоторые серьёзнили и внимательно смотрели на меня:

– Песня жизненная. Вся правда в ней. Кто научил? Коля, что ещё знаешь?
Я, расхрабрившись, начинал:

*– На опушке леса старый дуб стоит. А под этим дубом офицер лежит.
Он лежит – не дышит, он как будто спит. Золотые кудри ветер шевелит.
А над ним старушка – мать его сидит. Слёзы проливая, сыну говорит:
«Я тебя растила – и не сберегла. А теперь могила будет здесь твоя.
А когда родился – батька белых бил. Где – то под Одессой голову сложил.
Я вдовой осталась – пятеро детей. Ты был самый старший – милый мой Андрей!»*

Красноармейцы переставали улыбаться, молчали, курили махорку, повторяли:

– Да, Коля, ты, оказывается, талант! Будешь артистом! А вот новая песня, только – что вышла, по радио поют часто – не знаешь?

– Про Корбино? Выучил
– отвечаю.
– Давай!

*– Может в Корбино, может в Рязани, не ложились девушки спать.
Много варезжек связано было, для того, чтоб на фронт их послать.
Вышивали их ниткой цветною, быстро спорился девичий труд.
И сидели ночью порою и гадали, кому попадут.
Может лётчику, может танкисту. У отчизны есть много сынов.
Иль чумазому парню – шофёру, иль кому из отважных бойцов.
Получил командир батальона эти варезки – пуховики.
Осыпает их иней, морозы, но любовь не отходит от них.
Скоро-скоро одержим победу! Поезд тронется в светлую даль.
И тогда непременно заеду – может в Корбино, может в Рязань!*

Раненые прямо-таки светились, улыбались, а некоторые украдкой вытирали слезу.

– А что-нибудь ещё знаешь? Может, весёлое?

Я охотно соглашался и под перемигивания, шутки, начинал быстро:

*– Шла машина из Тамбова – под горой котёнок спал. (Два раза; второй раз – с распевом)
Машинист кричит котёнку: «Эй, котёнок, берегись!»
А котёнок отвечает: «Объезжай – я спать хочу!». Машинист поехал прямо – отдавил котёнку хвост
А котёнок рассердился – опрокинул паровоз.*

Бойцы смеялись, трепали меня по волосам, а я был несказанно горд. С работы я возвращался вместе с матерью, безумолку рассказывал ей о своих новых знакомых, нёс Шурке подарки, игрушки. Он ни за что не соглашался ходить вместе со мной в госпиталь, но охотно поддерживал меня в новой затее. Теперь мы с Шуркой играли только в раненых. Смастерили себе костыли и целыми днями прыгали на одной ноге или забинтовывали один глаз, ухо, рот, грудь, руку-ногу и т. д., придумывая себе ранения в самых неожиданных местах. В госпитале у меня появились настоящие друзья, к которым я шёл в первую очередь. Один из них – лёгчик, мастерил для меня из бумаги, картона, косточек из компота, сырого картофеля, бинтов и ниток невиданные игрушки, зверей, птиц.

И теперь я хочу сказать, может быть, самое главное, что даже сейчас тоже берedit мне душу, но по другому поводу.

Как же нам не везёт с властью! С её подлостью, обманами, враньём! Сейчас это существует, а раньше ещё хуже было! Речь идёт о следующем. Я уже упоминал, что в городе перед фашистской оккупацией наши безжалостно оставили в госпиталях на растерзание немцам более двух тысяч тяжелораненых красноармейцев. Официальная советская пропаганда не отрицала этот факт, но объясняла всё это спешкой отступления. Какая там спешка, если в городе было безвластие более недели (а некоторые источники называют цифру – две недели!). Тяжелораненых, измученных красноармейцев, отдававших Родине свою жизнь, просто кинули! Я и до этого знал и слышал от людей всю правду об этой трагедии, но, изучая всё это, «раскопал» следующий важный документ. Привожу его вкратце:

Заместителю председателя Совнаркома Р. С. Землячке. 2 июня 1943 года. Тов. Землячка Р. С.! Обращаясь к Вам с настоящим письмом, я делаю одну из последних попыток правильно осветить и добиться разрешения вопроса, волнующего людей на Минеральных Водах. Вам, наверное, неизвестна Кисловодская эпопея эвакуации города в августе 1942 года. В городе на произвол судьбы были брошены более 2 тысяч тяжелораненых бойцов и командиров Красной Армии. Простые люди, врачи, медсёстры, санитарки оказывали этим раненым медицинскую помощь, вплоть до сложных операций, кормили их, поступаясь последним куском хлеба в их пользу. Спасали их от Гестапо, прятали на своих квартирах. Люди делали всё, что могли, чтобы спасти их жизнь, выполняя свой долг перед Родиной и её защитниками. Скрывали их, прятали партийные документы, ордена и т. д. Всё это я довольно подробно осветил в докладе, который послал в Москву председателю ЦК РОККа в феврале с г. и копии в местные, городские и краевые советские и партийные организации. К глубокому сожалению, до сего времени мы ответа или какой – либо оценки, несмотря на то, что прошло уже 5 месяцев, не имеем. Наоборот, разговор об этом здесь, в Кисловодске, среди «власть имущих» считается «неприличным». Я и многие мои товарищи находимся под злейшим остракизмом, ощущаем настороженно – подозрительное отношение и пренебрежение. Власть, которая должна нести ответственность за свою трусость, неумение в нужный момент сохранить присутствие духа и организовать эвакуацию раненых, старается, чтобы народ забыл, как тысячи раненых беспомощных наших защитников умирали, будучи брошенными без надзора и ухода. Мне было запрещено писать об этом дальше без разрешения Городского комитета ВКП (б). Я считаю, что наше правительство должно иметь суждение о передаваемых мною фактах, наказав виновных и наградив достойных, после беспристрастного и тщательного расследования. Ст. судебный психиатр г. Ленинграда академик Гонтарев Б. Р.

Что тут скажешь? Ответ ищите сами, уважаемые читатели.....

Глава 5

В Сибирь – на ссылку!

Нас увозил слепой вагон. А что там, где со всех сторон? Клочку небес мы были рады. «Так захлебнитесь кровью, вражьи морды!» – орали грозные дельцы, антисоветские спецы ежово – берьевской породы.

Михаил Люгарин. Норильский мемориал (выпуск 2 —ой)

Больно вспоминать то бесчеловечное время, но из памяти не уходят те кровавые годы, просятся на бумагу, к людям. Попробую описать главное. Не будет ни одного придуманного сюжета, ни одной придуманной фамилии, только то, что я видел, пережил, испытал и что останется со мной навсегда – до последнего вздоха!

В Кисловодске только и говорили на работе, дома, судачили на базаре о недавней высылке из города всех карачаевцев. Говорили разное, но в основном недоумевали и жалели эту маленькую народность. Но я слышал, как наш новый участковый милиционер Салов, почему-то зачистивший к нам, однажды сказал:

– Правильно поступил товарищ Сталин! Они встречали немцев хлебом с солью и пода-рили коменданту белого коня и бурку! Так им и надо!

Мать пыталась тихо возразить:

– Ну, даже кто-то из них это и сделал, а причём здесь весь народ?

На что грузный и неприятный Салов заорал:

– Ты что говоришь, Углова? За такие разговорчики... Смотри мне!

Уже позднее, когда мы стали большими, мать рассказала:

– Салов всё время домогался меня и, кроме этого, требовал тысячу рублей. А где я их найду? Если бы была эта проклятая тысяча – нас бы не выслали.

Это Салов мне прямо говорил:

– Есть разрядка на высылку неблагонадёжных людей после освобождения города. Твой муж попал в плен и числится в этой категории. Ищи деньги – прикрою, если что!

Я не верила ему. Думала – просто вымогает и запугивает меня!

От отца уже два года не было никаких вестей. Как в 42 году получили письмо из Ростовской больницы, где он лежал с сильным обморожением, так и пропал отец! Ростов уже два раза переходил «из рук в руки» и, в конце концов, был освобождён от немцев. Фронт укатился уже за пределы нашей страны – на Запад и мы все ждали нашей победы.

И вдруг в наш маленький домик нагрянула беда. 31-го августа 1944 года я, как обычно, пришёл поздно вечером с матерью с работы. Поужинали, легли спать. Вдруг часа в три ночи раздался громкий, требовательный стук в окна дома (у нас два окошка выходили прямо на улицу). Испугавшись такой настойчивости, мама открыла дверь. В дом ворвались двое в штатском, грубо растолкали и подняли нас. Перепуганная насмерть мать плакала, кричала:

– Кто вы? В чём дело?

Страшные мужики закричали:

– Собирайся быстрее!

Мать зарыдала:

– Куда? Зачем? Куда нас поведёте? За что? Почему? Что я сделала плохого? Дайте ваши документы!

В ответ рычали:

– Вопросы здесь мы задаём! А документ тебе сейчас будет по башке, если не угомонишься! Ещё слово – прибьём! Собирайся быстрее, сука! Бери, сколько унесёшь! Собирай самое ценное и тёплые вещи. Вас высылают в Сибирь!

Мать, а вместе с ней и мы, ещё больше заплакали – заголосили:

– Что я плохого сделала для власти? Работала, как проклятая, в госпитале – лечила раненых бойцов! А малые дети что сделали? Они же ещё ничего не понимают!

НКВД – эшники заорали:

– Молчать, сказали тебе! А то... не будет никакой высылки. Прямо здесь тебя и твоих щенков задушим! Тварь – быстрее шевелись!

Мать, плача, собрала в простыни три узла. Мы, всхлипывая, вышли, подталкиваемые злыми дядьками, на улицу. Дверь в наш дом один из непрошенных гостей опечатал. Нам и в голову не приходило, что мы покидаем родной угол на целых одиннадцать лет! Ниже нашего дома – метрах в пятидесяти, стояла полупорка, в кузове которой сидели четыре женщины с детьми. Нас погрузили, машина тронулась. По пути заехали ещё к некоторым нашим соседям, которые уже стояли на улице. Нестеровы, Невские, Исахановы, Жигульские: еле всех погрузили, затолкали в перегруженный кузов. Кроме шофёра в кабине сидел конвоир и ещё двое стояли на подножках кабины.

Подъехали к товарной станции. Уже начало светать, и конвоиры торопились, гнали к вагонам, толкая и пиная всех подряд. Вагоны были грузовые, с зарешёченными двумя маленьким оконцами в самом верху. Шум, гвалт, плач, крики. Некоторые женщины падали в обморок. Наша мать глухо рыдала, тоже падала в обморок, опять вставала – её, с негнушейся ногой, подняли и затолкали одну из последних.

В вагоне по периметру три яруса полки из грубых, неотёсанных досок. В самом углу туалет – прорубленное в полу вагона круглое отверстие с решёткой внизу. Все места были уже заняты, и нам пришлось разместиться на полу рядом с дыркой – туалетом. Это было ужасно, но «оценить» такое соседство нам пришлось только позднее. Мать всегда считала себя «несчастливкой» и это, действительно, подтверждалось тысячи раз в её жизни. Поезд тронулся «в светлую даль». Только на третий день мы выехали из Минвод, когда полностью сформировался состав из сорока вагонов, т. к. к нам всё время цепляли вагоны в Эссентуках, Пятигорске, Минводах. Мы ехали в семнадцатом вагоне. Состав тянули два паровоза. В каждом вагоне находилось от тридцати до сорока семей. В основном было в семьях два – три человека, но были и одиночки. Состав двигался очень медленно, иногда мы стояли по нескольку дней на полустанках или больших станциях, пропуская воинские эшелоны. Несмотря на медленное продвижение, в поезде чувствовалась твёрдая дисциплина. Сотнями кричащих, растерянных, плачущих женщин и детей руководили суровые бдительные конвойные (по два на вагон).

Люди в нашем вагоне все перезнакомились, порассказали все свои истории, некоторые даже подружились. Худая крыша вагона над головой не спасала от дождей, но это пришлось ощутить только позднее, когда мы были уже за Уралом. На пустырях или маленьких полустанках нам разрешали выйти из вагонов прогуляться, сходить в туалет, попить воды из водоканки. Всё это под присмотром надзирателей, но всё равно некоторые молодые одиночные мужчины и женщины сбегали. После таких побегов репрессии усиливались и нас практически перестали выпускать. Один раз в день с грохотом открывалась тяжёлая катучая дверь вагона, и раздавался крик:

– Два мешка и два ведра!

Староста вагона с одним помощником выпрыгивали из вагона и вскоре возвращались с двумя ведрами горохового супа и мешками с тяжёлым пахучим чёрным хлебом. Некоторые люди – побогаче, кто захватил больше дорогих вещей или золотых украшений, выменивали их на больших станциях на дополнительное продовольствие. У матери тоже было несколько золотых и серебряных вещиц, но она, как бы чувствуя впереди худшее, берегла их. И это спасло нам жизнь в первые два – самых тяжёлых года в Сибири!



Фото 1956 года г. Кисловодск ул. Овражная 7. На переднем плане дом, из которого 31 августа 1944 года ночью была выслана в Сибирь семья Угловых.

Поезд тянул нас в неизвестное уже более месяца. Начались дожди, да и около туалета была постоянная сырость от прибитого к деревянному полу бака с водой и привинченной на цепи алюминиевой кружки. Бельё у нас плесневело, воняло, гнило от сырости. Мы мёрзли по ночам, голодали, т. к. одноразовое питание было недостаточным. Осенние дожди через щели досок заливали холодными струями, а снизу через проклятую уборную тянуло сквозняком. Начались болезни, а затем и смерть наиболее слабых и немощных стариков и детей. В нашем вагоне умерло тоже несколько человек. Люди изнемогали, стонали, кричали, стучали в двери вагонов:

– Изверги! Куда вы нас везёте? Когда закончится этот ад? Сволочи!

В ответ конвойные орали матом, угрожали, стучали прикладами винтовок в стены вагона и даже стреляли в воздух.

Из всех детских впечатлений, пожалуй, самое значительное для меня было – сходить в уборную. Если взрослые это делали вечерами и ночами (представляете, какие звуки и запахи были рядом с нами?), то дети не умели терпеть и делали это и днём. На второй полке напротив нас находилась Стэлка Невская с сестрой Милкой и матерью. Стэлка была курчавенькая, симпатичная, миловидная девчонка, и я постоянно наблюдал за ней. Она мне очень нравилась, и мы переглядывались с ней. Как можно было на её глазах сходить в туалет? Я плакал, настаивал, чтобы мать закрыла меня чем –нибудь от всех. Она же ругалась, даже шлёпала меня, но в конце уступала, натягивала простынь вокруг очка, и я оправлялся, радуясь, что Стэлка не видит моего позора.

На остановках мать приносила кипятку, несколько лепёшек, сахарин и мы пили морковный чай. Иногда, при долгих стоянках, около вагонов разводили костры и пекли картошку, которую просили или выменивали на что – то у сибиряков. Конвоиры на крышах вагона между трубами натянули верёвки и разрешили сушить бельё в хорошую погоду. Мы с Шуркой тоже, когда дошла очередь, залезли на крышу и высушили подушки, одеяло, простыни, одежду. Наконец, наши мучения закончились, поезд трянуло последний раз, по вагонам пронеслось:

– Новосибирск!

Но мы стояли ещё трое суток на путях. Наконец подъехали подводы, всех погрузили и через некоторое время мы подъехали к огромной реке.

– Обь!

– всполошились, заговорили люди.

– Вот куда нас привезли! Господи – это же край земли!

Но, оказывается, это ещё не был конец нашего злосчастливого путешествия! Нас погрузили на баржу в трюм. Темно (одна – две семилинейные лампы на весь трюм), сыро, грязно. Нас уже не кормили, и на барже от истощения и постоянного стресса умерло ещё пять человек. По очереди разрешали на несколько минут выходить наверх подышать свежим воздухом, т.к. в трюме стоял смрад и тяжёлый запах от невымытых тел. Через два дня баржа пристала к левому берегу Оби. Это был посёлок Почта. Здесь часть людей выгрузили, и мы попали в их число. Остальные поплыли на барже дальше.

На берегу уже стояли десятка два подвод, запряженных быками. Погрузили скарб, детей и немощных стариков на подводы и поехали куда – то по узкой лесной дороге. Десятка три – четыре людей покорно следовали за подводами в сопровождении трёх красноармейцев на конях. Дорога была ужасная. Мы две недели тянулись вглубь тайги. Стоял октябрь, колея раскисла от дождей, телеги застревали. Бедных быков безжалостно хлестали кнутами сердитые женщины – сибирячки, управлявшие обозом. Ругань, мат, свист кнутов по спинам вымотавшихся быков. Когда очередная повозка заваливалась по самое днище в грязи, сибирячки кричали:

– А ну, вражьи морды, ломайте кустарник! Бросайте под колёса! Мать вашу так! У вас, что? Руки не туда приделаны? Интеллигенты вонючие – городские бл... и! Кто так делает?

Мать шла пешком все эти 150 – 200 километров, которые мы проехали за эти две недели на подводах. Отчётливо помню, как мы с Шуркой плакали, когда подводы опережали идущих пешком взрослых, и хромающая мать скрывалась за поворотом дороги. Мы думали, что она нас уже не догонит.

С нами на одной подводе ехала Щербинская Мария Леонидовна – беспомощная, ничего не умеющая делать женщина, но, как оказалось, прекрасный врач и медсестра, спасающая впоследствии не одну жизнь. Однажды хватились – нет её на подводе. Оказывается, она задремала, бричку сильно трянуло, и она слетела с подводы, а тут крутой поворот дороги. Мы в этот раз ехали последними. Конные бойцы нашли её, запеленатую в одеяло. Лежит в канаве. Тихо плачет:

– Оставьте меня, родненькие, здесь умирать! Я вас прошу – уезжайте! Для чего мне теперь такая жизнь?

Днём, когда пригревало, мы впервые узнали, что такое комары и мошка. Все от укусов гнуса распухли. Сибирячки смеялись над нами:

– Наши комарики кусают вам яики! Ничего, враги народа, привыкните! Отвыкайте от сладкой жизни на вашем Кавказе...

Ночью мы ночевали в копнах сена где –нибудь на полянах рядом с дорогой. А надо признать, что там не было сплошной тайги – всё время чередовались болота, перелески, поля. Ночевать в стогах сена было ново и прекрасно. Пахучее сено нам нравилось. Но утром будили рано. Сено опять складывали в стога и копны. Раз в день мы останавливались, готовили что-нибудь на кострах. Воду пили из болот, придорожных канав, грязную, с зелёной тиной. Практически у всех началось расстройство желудка и это ещё более замедляло движение. За две недели ещё умерло от кровавого поноса несколько стариков и детей. Хоронили их рядом с дорогой в могилах, наполненных водой – без гробов, завёрнутых в простыни. Даже крестов не было возможности поставить на могилах. Родные дико выли, кричали. Женщины рвали на себе одежду, царапали лица, громко причитали – они не могли смириться с такими похоронами близких! Мы все были в шоке от всего происходящего с нами!

Но затем все успокаивались, и обоз продолжал движение вглубь тайги. Лес нам с Шуркой очень нравился – багряный, золотистый, местами ещё зелёный. Я всё расспрашивал нашу возницу – сибирячку, которая к концу нашего пути становилась всё добрее к нам:

– Теть! А медведи есть здесь?

– О – о – о! Чего-чего, а этого добра здесь хватает! Сколько их шастает по тайге! Мужики все на войне – они и расплодились. Летом боимся ходить в лес по малину – задерут, как пить дать! Но сейчас они уже ложатся в берлогу – не злые, жиру за лето нагуляли.

После этих разговоров я боялся отходить далеко на стоянках, и всё время оглядывался с подводы: а вдруг мелькнёт медведь?

Наконец лес немного расступился, впереди показалась красивая речка, вся в излучинах, то узкая, то широкая. По берегам зелёный, жёлтый тростник и камыш. По обе стороны реки стоят необычные чёрные, деревянные хаты. Деревня называлась Лёнзавод, а речка – Шегарка, как объяснили сибирячки, останавливая подводы у самого большого дома на берегу. Через некоторое время собралось несколько местных жителей – женщин, стариков, детей. Кучкуются, тихо разговаривают, смотрят неприветливо на нас, кого – то ждут. Подошёл низкорослый, плюгавенький мужичок в шапке, фуфайке, на ногах валенки с галошами. Заикаясь, представился, растягивая сильно слова:

– Пинчуков моя фамилия. Директор Лёнзавода. Пять семей, которые на первых подводах, располагайтесь в конторе! Остальные – айда во Вдовино!

Переглянулись, перемигнулись бабы на такого директора, даже впервые заулыбались, хоть устали все смертельно. Зашевелились, начали сгружаться (в том числе и мы), остальные поехали в какое-то Вдовино, которое находилось, как выяснилось, в трёх километрах от Лёнзавода. В пустые четыре комнаты без стола, стульев, скамеек и кроватей, зашли Казарезова Мария – красивая женщина лет тридцати с двумя детьми Вовкой и Веркой (наших лет), Спирина Надя с дочкой Клавой 13—14 лет, Шереметьева Надя с дочкой Светой 3-х лет и Киселёва Люба с двумя девочками чуть постарше меня. Проходные комнаты были без дверей, маленькие окна с разбитыми стёклами, деревянные некрашенные полы. Посредине стоит большая русская печь, рядом под потолком полати. Стены из круглых черных брёвен, сквозь которые проглядывает мох – не оштукатурены и не белены. Вот таким было наше жилище! В комнатах холодно, неудобно, на полу кучи мусора. Помогавшие вносить вещи местные бабы рассказали, что на этой печи у одной ссыльной только что умер последний – третий ребёнок, а сама она сошла с ума и её куда – то увезли. Заплакали, заголосили, запричитали бабы, а заодно с ними и мы. Зашёл Пинчуков:

– В рёбра мать! Хватит реветь! Слезами горю не поможешь! Надо жить!

Заорал на своих:

– Пошли вон по домам! Лучше принесите им что-нибудь пожрать!

Затем начал покрикивать, успокаивать наших:

– Заткните дыры на окнах чем-нибудь, подметите и помойте полы. Взрослых детей пошлите за хворостом в соседний лесок: вон он – в пятидесяти метрах! Да и за избой есть немного колотых дров. Распустили нюни! Молодые бабы! Не стыдно?

И это подействовало! Все засуетились, успокоились, начали работать. Через некоторое время избу было не узнать. Чистые полы, щели окон заткнуты тряпьем и даже висят занавески, весело потрескивает огонь в печке. Во всех комнатах разложили на полу кое – какие лохматы. Мы заняли самую большую комнату со Спириными. Сибирячки вернулись, принесли вареной картошки, немного чёрного хлеба, обрату в кринках, устюков (шелуха с крупой), брюкву и турнепсу. Последние два плода похожи на сахарную свёклу и репу. Поужинали, долго говорили при свете печи и делая по совету сибирячек лучины из поленьев. Нам, детям, всё было интересно. Столько впечатлений! Необыкновенная еда (особенно понравилась сладкая брюква), необычные люди с интересным говорком, чудная печь с открытым огнём. Потрескивающие сухие лучины, блики огней на потолках, разговоры, вздохи женщин. Нас всех разморило – мы притихли, глядя заворожено на огонь. Помня умерших детей на печи, я не полез ночевать на неё и полати, как все дети, а уснул на полу около матери рядом с давно спящим Шуркой.

Глава 6

Лютый год

*Там смерть бродила без косы
Любя вождя, пред ним дрожали.
Сам чёрт точил ему усы, Чтоб жертву новую ужалить
Норильский мемориал. Август 1991г.*

Итак, наше ужасное «путешествие» – перемещение в Сибирь закончилось. Шли последние числа октября 1945-го года. А «поутру они проснулись...» в холодной избе в глухой сибирской тайге – пять несчастных, ни в чём не повинных русских женщин с малолетними детьми. Проснулись от пронизывающего холода. Все выбежали во двор. Кругом белым – бело! Ночью выпал глубокий снег. Ребяшня кинулась к снегу – интересно, необычно. А бабам горе: нечем затопить печь – все дрова сожгли вчера. Из соседней хаты сибирячки дали пилу и топор. Все пошли в лес (в том числе и дети) – он рядом. Никто не умеет пилить – всё время пилу зажимает, вихляется она; того и гляди, не дай Бог, сломается. Ведь сибирячки прибьют, т. к. это там была большая ценность. Да и топором тоже уметь махать надо. Переругиваются бабы, плачут, а нам весело. Столько всего нового, лес какой, пухлый снег, носимся, падаем. Помогаем носить дрова в избу. Затем с Шуркой побежали к реке с ведром за водой. Вода чёрная, тихое течение, пар от воды. Берега в снегу, со дна тянутся водоросли и кольшутся по течению. Наклонились – плюём в воду, увидели небольших рыбок в глубине. Разговариваем тихо, боясь их вспугнуть. От избы закричала мать:

– Колька! Шурка! Где вы, черти! Сколько можно ждать? Скоро вы воды принесёте?

Очнулись, зачерпнул Сашка ведро воды, оглядываясь, пошли назад. Неизгладимо первое впечатление от Шегарки! Осталось на всю жизнь память о милой моему сердцу речке, где прошло моё детство! Шегарка, Шегарка – как я благодарен тебе, что ты была всегда с нами! Ты скрасила нам детские годы, ты вошла в нашу душу до конца дней! Воспоминания о тебе жгут и мучают меня и сейчас, заставляют сильнее стучать моё сердце, дрожит голос, и выступают слёзы – я люблю тебя, Шегарка!

Через два дня наведалься Пинчуков

– Ну что, бабы? Передохнули? Постирались? Пора и за дело! Ведь не на курорт вас привезли к нам. Завтра все на лён! Лодырей не люблю! Детей, кто постарше, отвезём в школу во Вдовино. Это в первый раз. А дальше, пусть сами ходят, всего-то три километра. Малыши пусть дома сидят, но на первый раз можете взять их с собой на лён.

И началась наша сибирская жизнь! Взрослые целыми днями дёргали лён в поле. Много его надо было в то время для Красной армии, т. к. он шёл на изготовление белья, гимнастёрки, галифе, шинелей, верёвок и канатов. Лён стоит высокий, чистый, звенит шариками – бубенцами на ветру. С треском выдирают пучками его из снега бабы, вяжут в снопы, а снопы составляют в сула. Возьмёшь головки льна, разотрёшь в ладошках, продуешь, просеешь, пересыпая из руки в руку, кинешь в рот – нормально! Не мак, но есть можно. Лён стоит стеной рядом с посёлком. Дальний-то, говорят, убрали весь и вывезли на ток. По жёсткой разнарядке все поля, все свободные клочки земли засевали только льном. Немного для себя засевали лишь часть пахоты рожью и горохом. Удивительное растение лён! Мне он сразу понравился, а когда впоследствии увидел его цветущим – это было что-то! Я пытался помогать матери выполнять её задание – за этим строго следил бригадир. Сразу устал. Тяжело тянуть из снега пучок, да и пальцы быстро замерзают, а вскоре, к тому же, занозил руки. Никаких рукавиц, естественно, тогда не выдавали. Бабы одеты – обуты все в основном в летнем. Замерзают, стонут, плачут; у всех занозы, а бригадир свирепствует:

– Киселёва, Углова, Казарезова! Какого хрена опять собрались в кучку! Давай работать! Не получите обед! Бездельники! Я вам сегодня трудовень не поставлю!

Как помню – из всех женщин самая бойкая и смелая была Мария Казарезова. Она позже сбежала из Сибири. Она за словом в карман не лезла:

– Пошёл, сам знаешь, куда! У нас руки с парю сошлись! Дай чуть погреть их!

Бригадир матюкается, машет рукой:

– А ну вас к чёрту, работнички!

Всем женщинам тяжело с непривычки, холодно – голодно. Попробуй с раннего утра дотемна потягай лён! А он с каждым днём всё хуже и хуже выдёргивается, т. к. подмерзает влажная почва. А места там болотистые, тяжёлые, всё низина – низина, нет привычных для нас гор, песка, гравия. Да что там – камешка не найдёшь нигде, даже по берегам Шегарки!

Вот, наконец, и обед! Привезли в поле на подводе в баке горячую похлёбку, немного хлеба, вареной картошки и брюквы. Разведут костерок, собьются с местными бабами вместе кружком, поедят, отдохнут, погрееются, погорюют, поплачут – и опять за работу.

Мы же с Шуркой и другими детьми любили играть – прятаться в суслах. Заберёшься внутрь, хрумаешь лён – интересно, но быстро вымокаешь в снегу. Мать прогоняет домой, а там тоже холодно. Но мы быстро научились пилить, колоть, заготовливать дрова и сами растапливать печь.

Но с каждым днём становилось всё холоднее, мороз жжёт щёки. Много на улице не поиграешь, одеться, обуться не во что, и всё чаще оставались в избе на целый день. А тут голод стал мучить ежедневно. Ждёшь – не дождёшься родителей с поля. Принесут льна, немного сырой картошки, выделенной Пинчуковым за работу, вместе с котлом в придачу. Все пять семей начинают варить картошку в котле, а потом в этом же котле кисель изо льна и калины. Печь большая, гудит, становится всем веселее.

Всё реже и реже мы с Шуркой выбегаем на мостик через Шегарку покачаться на гибких досках – всё холоднее и холоднее становилось. И вот уже река остановилась – сплошной лёд, который не пробивается комьями грязи, которые мы кидаем. Начали кататься – лёд прогибается и потрескивает, а я не боюсь и стараюсь выехать на середину омута.

– Смотри, провалишься! Лёд ещё тонкий!

– кричит Клавка Спирина.

И, правда, как-то раз, не успев выехать на середину, мгновенно очутился в ледяной воде. От неожиданности оторопел, испугался, но каким-то чудом ухватился за вмёрзшую в лёд ветку ракиты. Ору что есть силы. Ребятня вся сгрудилась, мешают друг другу, а течение прямо тянет меня под лёд. Никогда не думал, что на вид спокойная Шегарка имеет такую силу! Из последних сил держусь. Клавка прибежала с жердён (как догадалась?) и вытащила меня.

Мать вечером узнала, кричит:

– Сволочи проклятые! Вы что – утонуть хотите? Все дети, как дети, а вы какие – то ненормальные. Это всё ты, Колька, заводила! Если ещё раз выскочите на лёд – узнаю, излуплю, как собак!

Теперь мы в комнате весь день, у каждого свой угол, но есть и общая территория. Все подружились. Три мальчика и четыре девчонки, а всеми верховодит пятая, старше всех нас значительно – Клавка Спирина. Она, как и Шурка, походила, походила в школу во Вдовино и бросила. Сидит с нами в избе целый день, покрикивает на всех, разнимает драчунов. Голос у неё грубый, да и лицо, как у мальчишек! Весь день в избе шум, гвалт, возня, драки, слёзы и одновременно смех, веселье. Но чем дальше, чем холоднее, голоднее становилось, тем тише в избе.

Первое время по утрам мать силком одевала, снаряжала Шурку в школу, но он упирался, не хотел, плачет – сопли распустил:

– Не пойду, не буду там учиться! Меня обзывают врагом, смеются надо мною, издеваются!

Все произошедшие с нами ужасные события надломили его. Всех он боится, переживает, замкнулся в себе. И без того робкий по натуре, Шурка окончательно был сломлен жестокой действительностью. А когда зима ударила во всю, а до школы туда-назад три километра, тут мать поняла, что придётся этот год Шурке пропустить.

Лён весь уже был собран и родители перешли работать на Лёнзавод. Несколько крытых навесов, сараев, складов, молотилка, веялка, крутилка – вот и весь завод. Женщины крутили – молотили лён, вили из пряжи верёвки на сквозняке. Я любил приходиться и наблюдать за работой. Вот мать развязывает сноп, кидает его в жерло молотилки. Лён хрустит, пережёвывается, семя льётся ручейком в один бак, а волокно плавно – в другую сторону. Его подхватывают на дальнейшую переработку, а затем из пакли вяют верёвки для фронта.

– Чтобы поганого Гитлера задушили этой верёвкой!

– плачут, голосят голодные, измученные работой на морозе бабы. А мне и здесь было интересно. Шум локомотива, запах льна, крики – команды механика; солидол, которым смазывали механизмы, и я пытался его есть. Но особенно меня интересовали птицы, собиравшиеся на льняное семя. И в первую очередь, красногрудые снегири. Это были великолепные птички! Не знаю более красивых птиц в России!

Теперь наши матери приходили на обед к нам домой. Чаще всего варили капустную похлёбку и тыквенную кашу. Начали давать немного хлеба с устюками и на детей. Клавка Спирина растопит языком кружок на стекле, дует постоянно на лёд, торчит долго у окна, смотрит на дорогу во Вдовино. Наконец запрыгает, заорёт:

– Ракшиха хлеб везёт! Хлеб везут, хлеб везут, хлеб везут!

Все загалдели, лезем к окну, толкаемся. Это Нюська Ракша везёт на быках из Вдовинской пекарни хлеб. Все люди с посёлка собираются к конторе. Прямо с саней Ракшиха по списку начинает развешивать чёрный, липкий, тяжёлый, но страшно вкусный хлеб. Вонзит крючок безмена (весы) в булку, отрежет, сколько надо, или добавит. Всё это на руках, на весу, под жадными взглядами голодных ребятишек. Кричит:

– Готово! Забирай! Следующая по списку Шереметьева. Ну-ка, сколько тебе причитается? Так! Получай!

Воду носили с Шегарки – из проруби, которая ежедневно заносилась снегом и промерзала за ночь. Приходилось утром идти с лопатой и ломом. Принесут со льдом ведро воды, а в воде козявки быстро бегают, ныряют. Процедят через сито воду, прыгают в сите чёрненькие кузнечики – летуны, мы их долго рассматриваем, играемся с ними. Первое время заболели все животами, вода не нравилась, а сибиряки смеются:

– Всю жизнь пьём воду из Шегарки – не помираем, и вы привыкните! Теперь вы к нам навечно – свыкайтесь!

Эти последние слова просто убивали нас:

– Неужели эта каторга навечно? Как можно привыкнуть к такой жизни? Кисловодск – милый нам сердцу город! Свидимся ли?

Еды не хватало, мы были постоянно голодные, и мать постепенно выменяла перину и подушки за картошку, капусту, брюкву и тыкву у бухгалтера завода. Я начал ходить по дворам, вспомнив госпиталь в Кисловодске. Голод сжигал желудок, и надо было что-то делать. Я помогал Нюрке Безденежной, Горчаковым, Ракшихе и другим сибирякам по дому – чистил картошку, подметал полы, приносил воды, пел песни.

– Колюшок! Спой что-нибудь!

– просили, перемигиваясь, соседи.

Я всегда начинал тоскливо с «Арестанта», а затем:

*В краю чужом, мне снится дом. И наша вишня под окном.
Скажи, сынок, поведай мне о том, как жил ты в стороне.
О чём мечтал в чужом краю, и кто тебя берёт в бою?
Я, мама, был в таком огне, что опалил он сердце мне.
Он жжёт в груди, но ты прости, мне слов об этом не найти.*

Мои песни, видел, всегда нравились людям и меня постоянно просили:

– Ну, ещё давай, спой. Больно уж хороши песни. Не помнишь больше? Так давай опять про котёнка или про убитого офицера под дубом. А «Корбино» – так вообще здорово!

На что я гордо заявлял:

– А вот новая песня! Правда, не до конца выучил.

Из далёко – Колымского края, где кончается Дальний Восток

Я живу без нужды и без горя – строю новый стране городок!

Сибирячки меня кормили, давали с собой варёных бобов, печёной брюквы, жареной конопля, пирожки. Всё это богатство я нёс домой – матери и Шурке, который теперь целыми днями лежал на печи и голодал. Своими походами я очень гордился и нередко при ссорах попрекал Шурку.

Наступил февраль с его бесконечными заунывными злыми метелями. Это было просто страшно – мы таких холодов и метелей никогда не видели. Русская большая печь постоянно топилась и обогревала четыре комнаты, но к утру из избы всё выдувало. Было холодно, двери входные обмерзли, на тусклых маленьких оконцах толстенный слой льда. В комнатах всегда полумрак, а при открывании двери врывались клубы холодного пара. Дров не хватало. Женщины не успевали просить двух старых мужиков – соседей привезти на быках из лесу берёзовых дров и те ворчали, что мы быстро жжём их. Дети все трудились – помогали пилить, колоть, носить дрова, выносить золу, с речки носить воду, убирать в комнатах. Особенно противно было бегать на улицу в холодный камышовый туалет, стоящий метрах в тридцати от конторы. По ночам каждая семья в своём углу имела для этих целей своё ведро.

С первых же дней нас стали донимать вши. Всё свободное время мы «искались». Это слово я запомнил на всю жизнь. По очереди ковырялись – искали в головах друг друга и одежде, уничтожая гирлянды гнид и убивая вшей. До сих пор отчётливо слышится этот специфический хруст и постоянная кровь, грязь на ногтях двух больших пальцев на обеих руках. Помню однажды: пришла поздно вечером с работы Казарезова Мария и прямо с порога закричала:

– Сил нет! Не могу больше – заели вши проклятые! Кровопийцы чёртовы!

Подскочила к гудящей печке, не стесняясь никого, скинула одежду, осталась в одних трусах. Сняла последнюю нижнюю рубашку и поднесла к огню поближе, чтобы лучше видеть – «поискаться». Растянула на растопыренных пальцах её – и тут как тёмная волна прошла по белой рубашке. Из всех щелей, складок, узлов от жары бросились тучи крупных, как зёрна риса, вшей. Вскрикнула от испуга и неожиданности Мария и, не отдавая себе отчёта, что делает, брезгливо бросила свою единственную исподнюю рубашку в огонь топки и сразу заплакала, заголосила.

Наконец, нас всех собрали и повезли на санях во Вдовинскую баню. Мылись все в тёплой воде с чёрным мылом, а бельё всё где-то прожаривалось от вшей. Было жарко, волны горячего пара вверху скрывали наполовину всех, лиц не видно. Женщины впервые были счастливы, шумели, шутили, плескались и смеялись.

Долгими зимними вечерами, когда выла пурга в трубе, мы лежали на тёплой печке все вместе, и Клавка что-нибудь рассказывала страшное, пугая нас ведьмами и чертями:

– Слышите, как ведьма воеет в трубе? Тише, тише! Слышите? Кто-то шуршит за печкой! Это домовый! Он лежит за печкой (там его дом) и слушает, что мы говорим.

И, правда! За печкой был длинный узкий чёрный канал, который был неизвестно для чего. Мы от страха затыкали его старой одеждой или тряпками, но всё равно там постоянно кто – то шуршал. Позднее мы узнали, что во всех избах сибиряков есть такой канал за печкой. Люди и впрямь верили, что там живёт домовый и каждый раз перед едой, помолившись, ему первому бросали кусок хлеба. Но, став взрослым, я понял, что шебуршали за печкой, вероятнее всего, мыши.

Наконец, эта долгая злющая зима всё же подошла к концу. Зазвенела капель, стало вдруг тепло, снег просел, почернел, а затем начал так быстро таять, что в одну ночь всё кругом затопило, и из дому опять нельзя было выйти. Люди говорили, что на фронте наши наступают. Все радовались этим вестям, а также теплу, весне, солнцу. Чуть сошла вода и всех оставшихся мужиков и здоровых женщин, в том числе и наших, собрали, дали лопаты и повезли в соседние два села – Хохловку и Алесеевку. Там за зиму умерло много ссыльных и их перезахоронили на кладбище на стыке сёл. Приехали только поздно вечером. Все заплаканные, расстроенные. Мать рассказывает нам:

– Ой, дети! Сколько видела в Кисловодске мёртвых: ежедневно десятки умерших красноармейцев было в госпитале, но чтобы столько здесь было покойников – никто не ожидал! Это ужас! Больше трёхсот человек стаскали, схоронили в общей яме! Уже после нас по разнарядке привезли туда самую большую партию людей, а размещать негде. Выгрузили в три огромных амбара, которые освободились после сдачи ржи государству. В них нет печей, холодно, а уже полуметровый снег и морозы. Комендантом у них, говорят, был самый свирепый из них в округе – некто по фамилии Гонда. Он даже не дал им пил и топоров и они стали помирать от холода. Сколько их умерло за зиму! Снег двухметровый, земля промёрзла – кто докопается? Вот их и свозили на кладбище, чуть присыпали снегом и вот только сейчас, когда земля оттаяла, схоронили. Ребята! Это был ад! Яму огромную рыли человек сто почти до вечера. Другие подтаскивали мертвяков. Трупы уже полуразложились: вонь, смрад, все блюют, а таскать надо! Соорудили волокуши из кустарника и тягаем бедных – еле управились до вечера. А засыпать могилу будут завтра все местные. Сами, говорят, управимся. Господи! Как бы нам не помереть в этой проклятой Сибири!

Как мать была права! Знала бы она, что основные испытания у нас впереди.

Глава 7

Испытание продолжается

*В стране, рождённой в Октябре, стал богом Сталин
Мы спохватились лишь сейчас, как в годы эти жили – были.
Чем больше презирал он нас, тем больше мы его хвалили.
Норильский мемориал. 1991г*

Наконец, одержана великая победа в войне с немцами! Три дня все деревни гуляли – даже разрешили открыто гнать и продавать самогон! На улицах заиграли гармоны, как говорили, впервые за все годы войны. А играли в основном женщины, да старики. Люди бесшабашно веселились, обнимались, целовались и все ждали в свои дома уцелевших освободителей. Мы тоже ждали и надеялись, что теперь – то справедливость восторжествует, и нас тоже освободят. Откуда нам было знать, что пока жив Сталин – это никогда не наступит! А имя вождя советского народа я уже не раз слышал и запомнил.

В мае 45 —го нас перевезли в деревню Носково. Это поселение было значительно больше, чем Лёнзавод. Располагалась оно по обоим берегам знакомой реки Шегарки, в восьми километрах от Вдовино. Нас опять, все пять семей, разместили в правлении колхоза в большом бараке, а правление переехало в Лёнзавод.

Нам выделили пять соток вязкой, болотистой целины, которую мы единственной лопатой начали с трудом переворачивать, копать. Это был невероятно тяжёлый труд! Продав последние золотые и серебряные безделушки, мать купила мелкой семенной картошки и мы кое – как посадили её в перевёрнутые пласты целины. Мать стала работать на ферме птичницей, а мы с Шуркой ей помогать. Птичник располагался на краю деревни в длинном сарае с маленькими оконцами. Стены и крыша состояли из соломы, набитой между жердями. Несколько сот курей, десятка два петухов и столько же квочек, за которыми приходилось смотреть особенно тщательно, чтобы выросло всё потомство и цыплят не растащили кошки, собаки, коршуны и т. д. Председатель колхоза Калякин – крикливый, вздорный мужик, сразу предупредил мать:

– Смотри, Углова! Будешь с детьми яйца воровать или потеряешь хоть одного цыплёнка – выгоню из колхоза и из хаты! Берегите птиц! Не воруйте! Зубами держись за работу!

Работа нам всем нравилась. Была весна, тепло. Куры весело кричали на все лады, грозно распутив крылья, квохтали наседки, вода жёлтых цыплят. Но трава быстро вымахала в наш рост, и трудно было уследить за цыплятами, т. к. они убегали то на речку в тростник, то в лопухи, коноплю и крапиву, росшие рядом с курятником. Раз в неделю нам привозили на быках корм: овсюг, картошку, рожь. Мы кормили курей, чистили навоз, следили за птицами. Особенно тяжело было загонять их на ночь в курятник, и мы постоянно пересчитывали курей и цыплят. Еды было уже вдоволь. Мать варила здесь же, на улице, в чугушке суп из крапивы, добавляя картошки, ржи, которую брали от птиц. Из овсюга варили отличный, как нам казалось, кисель, добавляя в него кислицы, росшей кругом в перелесках. Яйца приходили чуть свет собирать из правления две шустрые тётки и иногда неожиданно среди дня, а также по вечерам. Они всё оглядывали, зорко смотрели по всем углам и, особенно, в наш чугунок. Но изголодавшиеся долгой зимой по теплу и зелени куры отлично неслись – яиц было много. Несколько хохлаток не захотели нестись в общих гнёздах внутри курятника, находили укромные места в лопухах и откладывали туда яйца. Мы с Шуркой выслеживали хитрых хохлаток по их крику, когда они снесли яйцо, и собирали яйца, оставляя по одному, чтобы курица не бросила гнездо. Мать, оглядываясь и пугаясь, мыла их и бросала в суп с лебедой. Мы потихоньку вылавливали варёные яйца, ели, а скорлупу бросали в речку.

Цыплята всё – таки пропадали. То тонули в речке, то исчезали неизвестно как. Как-то неожиданно рядом со мной пронёсся вихрь; закудахтали, разлетелись куры. Огромный кор-

шун схватил сразу двух уже довольно крупных цыплят и начал взлетать. Но также стремительно на коршуна налетел большой чёрный петух и ожесточённо дотянулся на взлёте шпорами и сбил его. Тот выронил одного цыплёнка, а со вторым всё же успел подняться из пыли, теряя перья. Цыплёнок остался жив, петух победно заорал, а я, наконец, пришёл в себя и с палкой долго бежал за коршуном до самого леса, не давая ему сесть. Было жалко цыплёнка, я плакал от обиды и на всю жизнь возненавидел ястребов и коршунов, которые питаются беззащитными птичками.

Как-то всё-таки мы попались хитрым тёткам, которые открыли наш секрет с супом в чугулке. Заорали, закричали, заматюкались на мать:

– Вору кавказские! Твари бессовестные, мать вашу так!

Схватили чугунок они, убежали с ним. Через некоторое время появился грозный Калякин. Что тут было! Разорался, расклюнявился, замахивается на мать, пинками бьёт нас. Мы все плачем, просим прощения, мать упала в ноги к Калякину, и он чуть отошёл, успокоился.

После этого случая Калякин перевёл мать работать дояркой. Теперь мы ходили на другой конец села пасти коров, а мать с другой дояркой трижды в день доили коров, собирали в вёдра и цедили молоко, мыли фляги, убрали навоз. За молоком приезжал ежедневно мужик на бедарке из Вдовино. Коров было более трёх десятков, и в стаде был огромный бугай, которого мы с Шуркой очень боялись. Он, говорили, забодал до смерти одного пьяного мужика, который ради шутки сунул ему под хвост горячую картофелину. Стояла середина лета и коров безжалостно донимали крупные, больше пчёл, пауты. От их укусов сочилась кровь из многочисленных ранок на теле бедных животных. А вечерами роились, зудели, кусали тучи комаров и мошки. Где-то к полудню вдруг взбрыкнёт какая—нибудь корова, поднимет хвост, понесётся к реке, а за ней и всё стадо и тогда – берегись! Бегут сломя голову, ломая мелкий лес и кустарник на пути, пока не ухнет всё стадо в Шегарку. Залезут по самые рога в воду – стоят, отдуваются, остывая от гнуса. В один из таких дней утонул в реке телёнок – его унесло течением. Калякин неистовал:

– В рёбра мать! Враги народа вы и есть враги! Недотёпы несчастные! Куда ваши глаза смотрели, когда стадо паслось? Углова! Как ты мне надоела со своими выблядками! Всё! В последний раз тебе даю работу. Не справишься – пеняй на себя!

Теперь Калякин перевёл нас в свинарник ухаживать и пасти свиней. Свинарник находился рядом. Раз в день привозили корм – отруби, жмых и сыворотку. Теперь мы постоянно жевали жмых – не халва, но вкусно! Мужик привозил сыворотку – ни разу не предложил, подлец, нам попить! Всю её выливает из фляг в длинное корыто. Свиньи набрасываются и выстраиваются вдоль. В корыте мелькают кусочки творога, вкусно пахнет, чушки смачно чавкают, пропуская сыворотку через клыки, и отцеживают творог. Стою, не дождусь, скорей бы уехал скряга – мужик, кидаюсь сразу к корыту, отгоняю хворостинной хрюшек и вылавливаю руками оставшиеся крупные куски творога и пью, не брезгуя (где уж, голод – не тетка!).

Свиней пасти – это не коров, гораздо труднее! Всё время они разбредаются, всё норвят куда-нибудь залезть: в хлеба колхозные, в огороды личные, в лес, на реку и т. д. Целый день носишься за ними, некогда нам с Шуркой поиграть, покупаться в реке. Сентябрь. Уже убрали хлеб, становилось холоднее, и мы пасли свиней на полях. Они подьедали колоски ржи после уборки. Шурка пошёл в школу, и мне теперь было труднее управляться одному со стадом.

Уже по утрам выпадал иней, а затем и мелкий крупчатый снег, а я продолжал бегать босиком (а босиком тогда бегали все деревенские ребята с мая по сентябрь, т. к. ни у кого не было обуви). В единственных галошах Шурка ходил в школу. Утром выгоняешь свиней – холодно, сырой туман стелется по полям, след от босых ног остаётся на мёрзлой траве, а сзади провожает мать, плачет, крестит вдогонку. Ногам холодно, ступни красные. Летние кровавые

цыпки с ног уже сошли, т. к. на ночь ежедневно мать намазывала толстый слой солидола. Стараешься ступать, перепрыгивать, где меньше инея, по деревяшкам, по кочкам, по пенькам, посуху. А корма становилось всё меньше и меньше. Свиньи просто оборзели, и разбежались в разные стороны. Побежишь, уже не разбирая, куда ступать. Соберёшь стадо, станешь на кочку или бревно. Ногами скинешь иней, снег и стоишь то на одной, то на другой ноге, греясь. К полудню снег оттаивал, становилось теплее, и я переставал плакать от холода. До самого снега бегал пасти свиней босиком и ни разу не простудился – просто удивительно! Более того, и в следующие нелёгкие годы детства, когда не было одежды, обуви – ни разу мы не простудились, а о сегодняшнем гриппе тогда никто ничего не знал.

С нашего участка мы собрали два мешка мелкой картошки. Целина, земля не работала, да мы и не умели это делать как следует. На все летние трудодни матери отпустили полтора мешка овса. Вот с этими запасами нам предстояло зимовать.

На ноябрьские праздники колхоз устроил всем коллективный обед. Детей не разрешали брать, но я всё же, взяв Шуркины галоши, прибежал туда. Выглядываю из-за угла, ищу мать. За длинными столами с едой в бараке сидело много народа. Говорил Калякин:

– Товарищи! У нас сегодня большой праздник – 28 лет Великой Октябрьской революции! Это великая дата! Но у нас есть и свой маленький праздник. Мы убрали весь урожай и выполнили государственный план по поставкам хлеба, льна и всей остальной продукции – мясу, молоку, яйцам, шерсти, кожи. Все хорошо потрудились – даже враги народа, которых нам прислали на перевоспитание. Но самый большой праздник – победа товарища Сталина над Гитлером в этом году! Именно благодаря великому вождю мы победили! Так выпьем же за его здоровье! Слава товарищу Сталину! Ура!

Все поддержали, выпили, начали есть, заговорили. Стаканы с мутным самогоном быстро наполнялись и выпивались, в бараке начался невообразимый шум. Заиграла гармонь. Я нашёл мать в самом дальнем углу барака и проскользнул к ней. Мать не удивилась – она уже примирилась с моим упрямым характером, пододвинула тарелку с мёдом, наполовину опорожнённую. Я жадно накинулся на мёд – ничего вкуснее не ел в жизни! Мать толкала меня под столом ногой, оттягивала меня от тарелки, шипела, но я не мог оторваться от мёда, пока полностью не вымазал хлебом досуха тарелку. На нас уже косились. Мать всучила мне в руки два пирожка, дала подзатыльник и прогнала домой. Шёл по глубокому снегу в темноте, грел за пазухой пирожки, но всё – же не утерпел, достал их и обгрыз края. Принёс Шурке – тот с жадностью накинулся на них.

Становилось всё холоднее, в бараке мы все мёрзли. Три семьи как-то договорились, подружились, и ушли в избы к местным сибирякам. А надо сказать, что отношение к нам сибиряков с годами так поменялось, что мы все стали друзьями и они поняли, что мы не какие враги, а просто пострадали от режима большевиков безвинно. В бараке остались мы со Спириными, которые вообще нигде не работали. Мать, жалея их, кормила своей картошкой и она быстро расходилась. И мать начала потихоньку приносить «свинячую» – мелкую и мёрзлую. Кроме картошки не было, по сути, ничего другого, и мы захлёбывали её киселём из овсяги. Спирины были из соседнего с Кисловодском города Ессентуки, и мать Клавки постоянно рассказывала, какой это прекрасный город, как там цветут вишнёвые сады, сколь дивных фруктов растут на плодовых деревьях у всех жителей, какие чудесные поля с цветами сразу за городом и т. д. Плакала:

– Переживём ли эту зиму? Боже, какие холода здесь! За что мы так страдаем? Я не пойму, почему нас выслали в этот ад! За что?

Мать успокаивала:

– Вот увидишь, Надя, разберутся, простят. Это какое – то недоразумение. Надо написать письмо товарищу Сталину. Это, скорее всего, сделали его враги – троцкисты. Помнишь, сколько их судили до войны, но, видать, ещё много их осталось у власти.

И вот кто-то доложил Калякину, что мать таскает картошку, которую привозили для свиней. В этот раз Калякин был неумолим, прогнал мать с работы и выкинул нас со Спириными из барака. Мать плакала, рыдала, падала в ноги к Калякину, просила дать хоть какую-то работу и угол, но всё было бесполезно. Мы поселились прямо в телятнике – и нас ожидал самый свирепый год в Сибири.

Глава 8

Голод

*И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою: Удвоить,
утроить у этой стены караул, Чтоб Сталин не встал и со Сталиным
прошлое*

Евгений Евтушенко.

Никто из сибиряков не пускал нас в свои избы на постой, и мы со Спириными поселились в телятнике на краю посёлка. Уже свирепствовала зима, снегу было по колено, мороз был просто ужасный – особенно ночами. Мы выбрали в самом углу телятника закуток, наносили вороха сена и соломы, зарылись в неё в старых фуфайках, залатанных пимах, дырявых шапках и рукавицах, которые нам дали некоторые жалостливые бабы. Голодные телята лезут со всех сторон в наш закуток, сосут одежду, мочатся под нас. Грязь, вонь, а нестерпимее всего холод, который проникает во все поры тела – дрожим постоянно. Лежим целыми днями, плачем, молим Бога о помощи. Мать рыдает, причитает:

– Господи! Помогите нам и помилуйте нас! За какие грехи нам такое наказание? За что наши мучения? Вот и приходит смертушка, дети! Бедный отец! Знал бы он, как сейчас мучается его семья! А может, и нет его уже самого на свете...

Все дружно ревём, и Спирины с нами воют во весь голос. Особенно мёрзнут руки, и мы иногда не выдерживаем. Как только какая –нибудь тёлочка растопыривается, готовясь помочь, мы протягиваем к струе горячей мочи руки и греем их. Погреешь, обтёр пуком соломы руки и до следующей тёлочки.

Как – то мороз чуть отпустил. Мать как-бы проснулась, поднялась, вышла во двор, затем говорит мне:

– Колька, надо бороться, надо спасаться! Давай пойдём в Алексеевку – может там нас кто-нибудь пустит к себе перезимовать? Нам бы только до весны продержаться!

Идём с матерью по глубокому снегу. На мне дырявые старые пимы, одет в лохмотья. На матери старое пальто, подпоясанное верёвкой, облезлая шаль с махрами. Идём, слезами заливаемся. Походили по селу, попрошайничали во дворах, поплакались. Чуть – чуть дали брюквы, картошки и турнепсу. Одна баба сжалилась, всё расспросила, говорит:

– Ты вот что, девка! Жалко мне твоего пацана. Пропадёте. Приходи завтра на ток! Я бригадир. Будешь работать. Чем могу – помогу.

Мать в Алексеевке начала работать – крутить ручную рожь и овёс на току, а я пошёл «зарабатывать», т.е. побираться. В нескольких дворах были собаки, но большинство дворов были без них. В одном постучал в двери сеней. Выглянула миловидная женщина:

– Тебе чего?

– Тётенька! Дайте чего-нибудь поесть! Я вам про солдата песню спою.

Она улыбнулась:

– Про солдата? Интересно. Давай, может, я не знаю. У меня ведь муж погиб... Ладно, заходи.

Отряхнул пимы, зашёл в избу. Начал бодро, весело:

Мы растались в военное время, Когда землю бомбили враги, Расставаясь, ты мне говорила

Для меня ты себя сбереги.

Женщине, как видно, понравилась песня и я. Она расчувствовалась, обняла меня, спросила обо всём, накормила. Сказала:

– Приходи ещё, Коля! Вон в тех трёх хатах (показала) – живут старушки. Я им скажу за тебя. Будешь им помогать по дому – подмести, убрать, принести воды из проруби, почистить картошки, а заодно и песни будешь петь.

К матери я летел, как на крыльях. Всё рассказал – она обрадовалась. С той поры мы с матерью начали ходить в Алексеевку на заработки.

Идём назад из Алексеевки к Шурке, несём что –нибудь ему. Мать за пазухой ржи, овса, я – картошки или брюквы. Дорога переметена снегом – идти трудно. Звёзды сверкают в холодном небе, недалеко от дороги по обеим сторонам чернеет лес. Всё время оглядываемся, страшно и жутко на душе. Местные рассказывали, что в прошлом году на этой дороге поздно вечером шла учительница. Настигли волки. У неё были спички. Начала жечь школьные тетради, отгонять факелом волков. Да много ли продержишься? Прошла с версту – кончились сорок тетрадок. Нацарапала карандашом прощальную записку, вложила в пимы глубоко. Нашли эти пимы с остатками ног учительницы и запиской (войлок на пимах, видать, был очень крепкий) на следующий день. Обычно в тех краях волки постоянно не водились – очень болотистая местность. Эта стая, видно пришла издалека, но все люди после этого случая стали их бояться.

Иногда, когда была пурга или особенно холодно, мы с матерью оставались ночевать в Алексеевке у одной моей знакомой старушки, которой я помогал и пел песни. К нашим вшам здесь добавились полчища тараканов и клопов – изба так и кишела ими. Но скоро бабка перестала пускать нас на ночлег, ворчала:

– Вшей-то напустили мне! Господи, как я теперь с ними справлюсь! Тараканы-то не злые – не кусаются! А эти твари, как собаки! Идите с Богом – и больше не приходите!

А тут и рожь кончилась! Немного овса матери дали и велели также больше не приходить. Дома из овса мы варили кашу и кисель на воде. По инерции мы с матерью ходили ещё в Алексеевку, но уже никто не давал продуктов и не приглашал помогать по дому и петь песни. Мы побирались, выпрашивали очистки от картошки, брюквы, турнепса и варили их дома в сенях телятника. Был конец декабря сорок пятого года, морозы стояли сильные, мы обморозились и перестали ходить в Алексеевку. Лежим в телятнике, зарывшись в сено, на холодной, мёрзлой и мокрой от мочи телят соломе целыми днями – ночами, непрерывно дрожим и плачем навзрыд.

Наступил, кажется, конец нашим мучениям – мы медленно умирали. Грязные, косматые, с воспалёнными глазами – мы дрожали, метались, стонали и непрерывно плакали. Крепче всех оказалась Надя Спирина – мать Клавки. Она всё ещё выходила – выползала из телятника и где-то пропадала. И вот, наконец, как-то поздно вечером принесла в телятник задушенную на верёвке небольшую собаку. Уж где и как она подстерегла собаку и сумела задушить – не знаю, но это дало нам шанс прожить ещё неделю. Надя довольно быстро сняла шкуру, разделала и сунула четвертинку в чугунок. Вдвоём они пошли в ближайший лесок и наломали сухого хвороста. Разожгли костерок рядом с телятником и начали варить собачатину. И это спасло нас на некоторое время! Какая же всё – таки сила в мясе – пусть даже собачьем! Но мясо собаки быстро кончилось, и опять мы начали голодать. Надя и мать ещё раз выварила кости и кишки: мы с удовольствием выпили эту гадость. На этом всё кончилось! Ещё раз или два они что – то приносили, варили в чугунке непонятную пищу и тем продлевали нашу агонию. А потом целую неделю Надя с матерью ходили по окрестностям, пытаясь вновь поймать собаку, но всё было безрезультатно! Теперь мы жевали только овёс, с полмешка которого у нас ещё осталось.

Почти ежедневно к телятнику приезжали со свежей соломой или сеном скотники. Услышали их разговор:

– Аграфена! Твои-то постояльцы ещё живы? Держатся? Что же они едят? Не жалко тебе их? Ты же одна. Возьми хотя бы мальцов домой к себе.

– А ты, Прокл, не учи меня! Сам и возьми детей к себе. Ишь, какой добрый за чужой счёт! Забирай их – и мне легче будет. Тошно уже смотреть на их мучения!

– Детей у меня самого в одной – то комнате – шесть душ! Взял бы этих бедняг, да некуда! Так на чём они держатся? Картохи даёшь им?

– У меня картошки самой в обрез. А жрут они, видно, собак и кошек. Вон – несколько шкур появилось в ногах у детей!

Скотники с интересом подошли к нам в угол и разгребли солому. Покачали головами и, бормоча что-то под нос, ушли.

А сибирячка, приходя кормить сеном телят и убирать навоз, продолжала равнодушно взирать на нас. Было вернувшаяся надежда, сменилась отчаянием – мы опять начали угасать. Вот и Надя смирилась с неминуемой смертью и перестала выходить из телятника. Как – то сквозь дрёму, и какое-то бессознательное равнодушное состояние опять услышали разговор двух скотников, привезших свежую солому в телятник:

– Аграфена! Сейчас были на Замощье. Набираем вилами со скирды солому и вдруг натываемся... на кучу покойников. Сколько их там!

– Кавказские?

– Нет – китайцы! И откуда их столько?

– То-то я смотрю их по деревне начало много шататься! Вот навезли на нашу голову бездельников! Начали, видать,дохнуть.

– Ночью они все уходят за деревню. Ночуют в скирдах соломы и сена. Стога-то сена дальше от деревни, но и там, говорят, уже стали находить покойников. А твои-то постояльцы ещё живы?

– Живы – мать их так! И сердце за них болит, и зло берёт – привязались к телятнику на мою голову. Мальцов, правда, жаль. Помрут всё равно. Думаю, неделю-две ещё помяются.

Скотники уехали, а Надя Спирина начала о чём-то с матерью шептаться. Она что-то горячо ей доказывала, но мать упрячилась:

– Да ты что, Клава? Как можно? Это же грех! Да и сможем ли мы есть?

– Грех, конечно! Собак и кошек, вон, съели ещё как – и это съедим. А что? Помирать лучше? Может, ещё выживем... Ты что – не помнишь, как рассказывали наши родители о голоде на Северном Кавказе и Поволжье в тридцать третьем году? Тогда многие выжили только благодаря этому.

Всю правду об этом разговоре мы узнали только через десятилетия...

На следующий день мать с Надей, кряхтя и постанывая, куда-то опять засобирались. Клава, Шурка и я еле шевелились, беспрерывно дрожали и всхлипывали. Взрослые накидали на нас вороха соломы и ушли.

Сознание вернулось ко мне только тогда, когда сквозь сон услышал, как мать, плача, тормошит меня:

– Колюшок, очнись! Мы спасены! Председатель дал нам мяса!

И, правда – в ноздри пахло чем – то необычным! Мать с ложки поила нас бульоном, а затем дала и кусочек печени.

Мы опять начали медленно приходить в себя. Теперь ежедневно Надя с матерью поили всех троих детей бульоном. Принесли откуда-то ворох разодранной одежды и одели на нас. Теперь мы стали походить на кочаны капусты. Но холод всё равно нестерпимо донимал нас. Телятница, видно, о чём-то догадывалась и, приходя по утрам, презрительно смотрела на мать и Надю Спирину:

– Бессовестные вы люди! Ишь, что удумали! Бога нет у вас в душе! Разве можно так делать? Звери вы, а не люди! Вот выгоню вас отсюда на мороз!

Мать валялась в ногах у сибирячки:

– Аграфена! Прости нас! А что делать? Себя уже не жалко. А как деток спасти? У нас уже не было выхода. Спасём детей – Бог нам простит этот грех! А бедных людей уже не вернёшь с того света!

Мы не понимали смысла их разговора. А лютая зима продолжалась – было очень холодно. Мать с Надей еженедельно куда-то уходила и приносила нам спасительную печенку. Всё также взрослые ходили в лес – набирали сухих дров и по вечерам, когда уходила телятница, варили в чугунке суп. Иногда они добывали мёрзлой, свинячьей картошки или очисток, а также остатки нашего овса – и тогда наш суп был просто великолепен! Мы уже иногда выползали из телятника, когда было тихо и безветренно.

Как-то подъехали скотники. Услышали их разговор:

– Последний раз были в Замошье – скирда уже кончилась. Ужаснулись – у всех замёрзших китайцев вырезана печенка. Лисы, россомахи уже растаскивают по полю трупы. Не твои ли, Аграфена, постояльцы печенку вырезали?

– Ну, а кто же? Да не одни они сейчас этим занимаются. Вон, по деревням, сколько голодных ссыльных! Пропасть, какая-то.

Мы особенно и не понимали смысла разговора: были в полубреду и в полубессознательном состоянии, так как вскоре начали опять люто голодать – мама и Спирина перестали нас кормить. Они теперь никуда не выходили и лежали в соломе рядом с нами – видно председатель перестал им давать продукты, было спасшие нас.

Нам стало всё равно – на душе была пустота. Постепенно привыкали к мысли, что уже не имеет смысла сопротивляться, т. к. спасения нет – мама расписалась в собственном бессилиии и надо готовиться к худшему. Она как-то громко зарыдала, горячо заспорила с Надей Спириной:

– Всё, всё, Надя! Ты как хочешь, а у меня уже нет сил – так мучиться. Я не могу смотреть, как страдают дети и медленно, с мучениями, умирают. Куда ты дела ту верёвку? Ночью вон на той жердине повешу детей, а потом и сама...

– Нюся, что ты говоришь? Разве можно так? Может, ещё как-то обойдётся. А верёвку где-то за телятником занесло в снег.

Мы с Шуркой практически не удивились такому решению матери. Ну и пусть! Нами овладела апатия и равнодушие – скорей бы закончилась такая жизнь! Такое балансирование на грани жизни и смерти у меня в Сибири будет ещё неоднократно. Постоянный голод в течение нескольких лет, холод, гибель в воде и на льду (чуть не утянуло под лёд); несколько раз тонул в трясине, неоднократно обморожение, нападение сохатых, а также несколько падений с деревьев – эти стрессы стали постоянными спутниками в этой проклятой Сибири. К ним в будущем добавился пожар в тайге, где я чудом не сгорел, а также один случай, когда меня откопали в снегу, уже не шевелившегося. Но об этом позже.

Глава 9

Трясина

*Мы собирали колоски и лебеду от горя ели
А стихотворцы из Москвы от радости или тоски
Про Сталина нам оды пели.
Норильский Мемориал. М. Люгарин*

Наконец, наступила весна. Яркое солнце быстро съело снег на полях, но в лесу его ещё было много. Мама и Надя Спирина с Клавкой начали ходить на колхозные поля – выбивать мёрзлую картошку. Жёлтые, бледные, трясущиеся, и мы с Шуркой начали выползать из телятника. По очереди пользовались одними рваными галошами и тоже ходили добывать картошку. Идём, еле волоча ноги, по вязкому полю. Издали увидел один бочок картошки – бежишь к ней. А картошка, надо признать, прямо выталкивается из чернозёма и манит крахмальным бочком. Рассыпчатая! Обжужьешь крахмал и в сумку её! Телятница дала нам сковородку, и мать жарила теперь на ней олады из мёрзлой картошки. А потом выросла первая трава.

Мы жадно поедали суп из лебеды и крапивы, который готовили нам на костре рядом с телятником мама и Надя Спирина. Иногда в суп добавляли жмых, отруби или мёрзлую картошку, которую добывали на поле или воровали у телят. Мама у кого – то выпросила ножницы и остригла нас наголо, а также остригла ногти на руках и ногах, которые уже закручивались как когти. Становилось всё теплее и теплее и мы, наконец, скинули многочисленные лохмотья, которые, как мы поняли, мать и Спирина сдирали с мёртвых замёрзших китайцев. А тут и вода в пруду стала теплой, и мы вволю намылись – накупались. Только вместо мыла у нас была жёсткая трава и жирная глина, но тело отмылось хорошо от многомесячной грязи.

Мать пошла в контору и кинулась в ноги Калякину:

– Леонтьевич! Дай нам с детьми какую-нибудь работу! Может быть, заработаем на трудодни что-нибудь на пропитание и обувь, одежду. Голодные сидим, нет обуви, а вместо одежды – лохмоты!

Калякин был в хорошем расположении духа. Он удивлённо уставился на мать и расхохотался:

– Так вы не подошли в эту зиму? А мне сказали... Вот живучие – мать вашу так! Как же это вы уцелели? Вон – все китайцы вымерли, а вы.. А вместо китайцев к нам опять направляют толпы бессарабов, западенцев и прибалтов. Ума не приложу, что с ними делать. Ну да, ладно: лето – осень они проживут, а зимушка наша всех их опять соберёт. Ха – ха – ха!

Он, закончив смеяться, строго посмотрел на мать:

– Ладно, Углова! Чёрт с тобой! Ещё раз доверю тебе и детям твоим наших свиней. Кормов немного будут подвозить мужики, но, главное, свиней хорошо пасите. Они летом сами найдут, что им есть – траву, коренья. Пасти будете у Замошья, где кончаются покосы. Это в районе Уголков. Главное, чтобы свиньи не травили поля колхозные. А когда уберём брюкву, турнепс, картошку, овёс и рожь – тогда по полям будете пасти.

Мать плакала:

– Спаситель наш! Спасибо большое! Мы оправдаем доверие! Будем стараться!

– Да, Углова! Вот что ещё! Замошье кончается Гиблыми болотами – сколько скота там утонуло в трясине. Смотри, чтобы хрюшки туда не забрели! Детям накажи, чтобы следили за этим! А конюх мой вам покажет выпасы. Давай, завтра с детьми на свинарник!

Окрылённая, мать пришла и рассказала об этом всё нам. Пасти свиней для нас – теперь привычное дело и мы повеселели.

И потекли будние дни. Утром чуть свет мама будила нас и мы вместе – трое, выгоняли свиней на выпасы. Ближе к обеду надо было их пригонять к свинарнику, куда колхозник привозил сыворотку или корм – картошку с отрубями. Мы и здесь питались прямо из свиного корыта: пили сыворотку, вылавливали творог и картошку из мешанины. Затем опять выгоняли свиней на выпасы, которые находились в двух-трёх километрах. Все окрестности Вдовино были изрыты их пяточками – они вырывали, видно, сладкие коренья, личинок и червей, а также поедали свежую траву. Но за свиньями надо было всё время следить – они всё время разбредались и норовили вырваться на колхозные поля, которые находились невдалеке. Теперь мы с Шуркой периодически забирались на какую –нибудь берёзку или осинку и оттуда считали свиней: их у нас было шестьдесят. Часа в три дня Шурка бегал в деревню к свинарнику, где убирала навоз мать, и приносил в узелке немудрящий обед на двоих. И вот как-то в знойный июльский день Шурка убежал за обедом, а я привычно вскарабкался на дерево. Несколько раз я пересчитывал свиней, но одной не хватало. Я всполошился и начал бегать по окрестностям кругами, ища её. Сбежал и на соседнее колхозное поле, но её и там не было. Я заплакал:

– Сволочь! Куда она делась? Нас же Калякин растерзает!

И вдруг, словно молния пронзила меня:

– «А не убежала ли она на Гиблые болота, которые совсем рядом? Ведь недаром всё стадо сегодня так туда стремилось. День жаркий и им хочется поваляться в грязи».

Побежал в ту сторону и скоро услышал визг. Ноги уже проваливались по щиколотку в грязь, и скоро я увидел своего борова. Так и есть! Это тот – самый шустрый боров с пятном на голове, который больше всех приносил нам хлопот. Он лежал в грязи и верещал. Задние ноги у него, видно, крепко увязли в густой и вязкой трясине, а передние не доставали дна и он всё время барахтался, вереща и теряя силы. Я заметался, не зная, что делать. Попробовал подбежать к нему, но сам чуть не увяз – еле выскочил. И тут меня осенило. Я нашёл не толстый трёхметровый кусок осинового бревна без веток, который лежал невдалеке, и приволок его к трясине. Думаю:

– «Брёвнышко, вроде, не гнилое, не трухлявое. Надо поставить комлем его „на попа“ и плюхнуть рядом с головой борова. Только надо так толкнуть, чтобы не задеть голову свиньи и чтобы вершина упала рядом. А потом я подведу её под ноги и голову борова, чтобы до прихода мужиков свинья не утонула. Только скорее бы Шурка прибежал!»

Поднял жердину и сильно толкнул, стараясь, чтобы она упала недалеко от хрюшки. Лесина плюхнулась буквально рядом с головой свиньи, обдав её всю грязью. Но по инерции она проплыла в жидкой трясине на метр-полтора. Я понял, что не дотянусь до неё. Залез по пояс в грязь, изо всех сил затолкал край жерди под свинью. Частично удалось. Мне кажется, что боров понял мои намерения – он опёрся головой и одной ногой на кругляк, перестал тонуть и барахтаться. Но в борьбе со скользким деревом я и сам погружался всё более в трясину. Ноги намертво засасывало в вязкую грязь, и я не мог ничего сделать. Заплакал, заревел, что есть силы, поняв, что сейчас утону. Голова моя оказалась рядом с головой ненавистного визжащего борова, и от этого мне стало ещё страшней. Ухватился обеими руками за сучки скользкого бревна. Хорошо, что оно было сухим, и не сразу напитывалось влагой. Руки быстро устали и скользили по гладкому стволу, и я решил поменять положение. Одной рукой поднырнул под кругляк, и пальцы рук сцепил сверху бревна в замок. Стало чуть легче, но силы быстро убывали. Мелькнуло:

– «Неужели это конец? Какую зиму выдержали, а тут так глупо получилось... Из-за какой-то проклятой свиньи погибать?»

Я с яростью плюнул в ненавистную харю борова. Мне показалось, что он с насмешкой смотрел на меня, как бы говоря:

– «Ну, что друг? Вместе утонем? А ведь только недавно ты бил меня хворостиной, а сейчас на равных».

Прошло, наверное, более получаса, как я попал в западню и силы мои были на исходе. С ужасом понял, что минут через пять-десять руки не выдержат, и я утону в трясине. Из последних сил закричал:

– Ш – у – р – к – а – а – а!

Он сразу же откликнулся. Оказывается – был рядом. Увидел наши грязные головы (со свиной), торчащие из трясины и затрясся:

– Колька, как же это ты так влетел? Держись брат, держись! Я мигом! Только что проехала бедарка с двумя мужиками на Уголки – я догоню их!

Уже теряя сознание, краем глаза увидел примчавшихся двух мужиков с верёвкой и двумя плахами. Через некоторое время нас со злосчастным боровом вытащили из трясины.

Мать долго после этого случая бранила меня

– Колька! Вечно ты куда-нибудь влезешь! Прошлый год под лёд на Шегарке чуть не утонуло, сейчас – в трясине. Мало тебе, что чуть не помер с голоду в эту зиму, так ещё и приключения на свою жопу ищешь? Больше не смей бегать на эти Гиблые болота...

Теперь мы пасли свиней с Шуркой по-новому. Всегда находились с ним на расстоянии 50—100 метров друг от друга и обязательно спиной к этому проклятому болоту, не давая свиньям туда даже близко приблизиться.

Знойное лето быстро подошло к концу и сменилось дождливой холодной осенью. В качестве аванса за выпас свиней мать выпросила у Калякина (через Райпо) две пары галош. Как не умоляла дать третью пару для меня – всё было бесполезно! В одних галошах ходила мать, в других Шурка опять пошёл в школу. Уже в сентябре убрали все колхозные поля, и я начал там пасти свиней. После уборки турнепса и брюквы оставалось много сочных листьев, которые с охотой поедали свиньи. А вот плодов практически не попадалось. Я быстро обегал всё поле, выискивая брюкву или турнепс, и таким образом опережал свиней. Найду овощ – с удовольствием хрупаю, не обращая внимания на грязь. А вот на овсяных и ржаных полях (там свиньи подседали колоски) я придумал для себя другое удовольствие. Так как опять до самого снега (а он выпадал в начале октября) мне приходилось бегать босиком, то, естественно, очень мёрзли ноги. Но и здесь я нашёл выход. Загоню свиней на середину поля, а сам быстро забираться на скирду соломы (их обычно ставили на краю поля). Зароюсь в тёплую солому – наблюдаю сверху за стадом. Хорошо и тепло на скирде соломы! Мыши внутри так и шуршат, пищат и даже выскакивают наверх. Мечтаю:

– «Вот бы превратиться в мышку! Как там – внутри стога хорошо и тепло! А пищи – вдоволь! Вон – сколько колосков не обмолоченных! А сколько друзей бы я там нашёл! Да, хорошо быть мышью! Но вот и у них есть враги. Коршуны и ястребы так и барражируют над скирдой. А летом – зимой лисы и совы охотятся на мышей. Нет, пожалуй, не буду мышкой».

Разбредутся далеко свиньи – соскакиваю со скирды и опять их собираю в кучу. Но свиньи быстро всё подседали, и приходилось перегонять их на новые поля, где не было скирд. Это было самое ужасное. Ноги мёрзнут; стараясь согреться, я всё время двигаюсь, бегаю от кочки до кочки на краю поля. А сзади остаются на мёрзлой траве или иное следы. Разгребу иней на кочке, зароюсь ногами в её середину, обложив ноги сухой травой – и так до следующей погони за свиньями. Или прыгаю сначала на одной ноге, затем на другой. Но всё время погода ухудшалась. Холодные дожди сменились морозным инеем и первым мелким снегом. Теперь по утрам, провожая меня, мать плакала, предлагала мне свои галоши, но я отказывался, зная, что у мамы одна больная нога и ей будет ещё хуже. Ухожу за околицу, оглянусь – мать ревет и крестит меня вдогонку. Я теперь тоже начинаю плакать, проклиная свиней. И так весь день реву, бегая за свиньями.

На одном поле один раз наткнулся на брошенную силосную яму. Собрал невдалеке свиной, а сам забрался в остатки прошлогодней соломы, грея ноги. Вдруг одна нога наткнулась на что-то твёрдое. Разгрёб солому и отшатнулся – на меня смотрели огромные пустые глазницы голого черепа. Я вскрикнул и отбежал на другой конец ямы. Только начал разгрести солому – показалась рука скелета. Заорал что есть мочи от страха и побежал перегонять свиней на другое поле. Видно, замёрзшие китайцы здесь в своё время находили приют.

Наконец мои мучения закончились, и свиней загнали на зиму в тёплый свинарник. Матери Калякин вдобавок к двум парам галош, дал два мешка турнепса и брюквы, а также по мешку ржи и овса. С этими припасами нам опять предстояло прожить вторую зиму в телятнике. Мать и Надя Спирина в закутке телятника к тому времени соорудили шалаш – набили его свежим сеном и соломой. Но холод всё равно донимал нас. Шурка опять бросил школу во Вдовино, т. к. ходить туда – сюда шесть километров по глубокому снегу в галошах было невозможно. Теперь мы все впятером (двое Спириных) лежали в телятнике, зарывшись в солому, и грызли замёрзшую сырую брюкву и турнепс, а также рожь и овёс. Печки и посуды, естественно, в телятнике не было, а костёр, который иногда мать и Надя разводили рядом, не особенно выручал нас. Выскочим из телятника к костру – а на улице морозище! Погреем один-другой бок, поджарим брюкву – и опять пулей в свой шалаш.

Как-то услышали, как скотник рассказал Аграфёне, что его чуть не съели волки:

– Чудом сегодня спасся от волков! В начале зимы они иногда прибегают в наши края. Я знал это, но не ожидал, что сам встречу с ними! Поехал на Уголки за сеном. Хорошо, что взял самого сильного и ходкого быка. Только связал воз, выехал на дорогу, чую: что – то не то! Собака мечется, носится вокруг быка, норовит ко мне запрыгнуть наверх. А они мгновенно наскочили! Пять штук! Бегут рядом: собаку всё – таки поймали и разорвали. Отстали. Бык бегом несётся, хрипит, мычит! Хорошо, что колея накатанная – каждый день на Уголки за сеном ездят десять саней. Молю Бога, чтобы скорей приехать. Они опять догнали, прыгают на оглобли и на голову быка. Я вилы воткнул в сено – приготовился отбиваться, если будут прыгать на воз. Длинной лесиной их пугаю – отгоняю. На меня они, вроде, не обращают внимания, а на быка прыгают. Бог помог мне! Уж как бык поддел рогом одного – я и не заметил. Только увидел, как они все завизжали и накинудись на раненного собрата! А тут и показались огни крайних изб.

Я перестал плакать и дрожать от холода, услышав этот жуткий рассказ.

А морозы в эту зиму стояли просто злющие. Наши скудные припасы заканчивались, и мать ревела, причитая:

– Дети! Выживем ли эту третью зиму в проклятой Сибири! Что мне делать? Как сохранить вас? Боже, спаси нас! Сколько нам ещё мучиться?

От всего пережитого, от холода и голода – мы опять начали иногда терять сознание. Когда было невмоготу – в полуобморочном состоянии вылезали из своего шалаша и грели руки под горячей струёй мочи телят. Мать ежедневно умоляла и просила телятницу взять нас к себе домой, но та сурово отмалчивалась.

Глава 10

АГОНИЯ

*Во всей человеческой истории не найти что –нибудь
Хотя бы в отдалённой степени похожее на ту
Гигантскую фабрику ненависти и лжи, которая
Организована Кремлём под руководством Сталина
Л. ТРОЦКИЙ*

Сибирячка-телятница всё-таки не выдержала наших рыданий, сжалилась и пустила нас троих к себе в маленькую избушку, а Спирины остались в телятнике. Мать начала помогать нашей спасительнице, работать в телятнике – таскать воду на коромыслах из Шегарки, поить-кормить телят, убирать навоз. Уходили они на весь день, а мы – голодные, лежим и ждём, когда вернётся мать и чем-нибудь накормит.

Хозяйка, конечно, опасалась нас – голодных и тщательно прятала свои припасы. Хлеб и продукты она прятала в сундуке, а картошку в погребе. На обеих крышках были замки. Но сундук был старый, крышка разболтана, приподнимается. Голод просто сжигает желудок – уже не вмоготу терпеть. Я не выдерживаю. Еле-еле протискаваю руку в щель, нащупываю в сундуке хлеб, поднимаю его кверху, чтобы видно было в щель. Шурка, придерживая просунутой в щель ложкой хлеб, другой рукой ножом с мучениями отрезает по всей ширине надрезанной буханки тонкий ломтик. Я осторожно опускаю буханку назад, ломтик хлеба делим пополам, маленькими кусочками закладываем под язык. Хлебная слюна идёт – глотаем, стараемся подольше держать хлеб во рту, стараемся друг перед другом, кто дольше хлеб сосёт, хвастаемся:

– А у меня ещё хлеб есть – а у тебя нет!

Понемножку крадём у сибирячки из печки сушёные кошурки картошки и брюквы – грызём. Я узрел в полу за кроватью большую щель в подпол. Выбежал на улицу, срезал с ольхи во дворе прутик, заточил его и давай тыкать в темноту погреба. Получилось – наколол картошку, потихонечку вытащил, затем ещё и ещё. Правда, много картошки срывалось, но мы беззаботно продолжали воровать, т. к. голод подстёгивал нас. Картошку запекли в русской печке. В ней мы практически весь день поддерживали огонь, для чего нам ежедневно строго по поленьям выдавала дрова хозяйка, чтобы изба не выстудилась. Прутик тщательно прятали от хозяйки в своих лохмотьях. Не прошло и месяца – поймались мы с поличным. Шурка неловко пытался наколоть картошку и уронил в погреб прутик. Я от досады накинулся на него:

– Сопляк паршивый! Что ты наделал? Сволочь! Теперь нам хана! Недотёпа!

Мы здорово подрались и разошлись в слезах по углам избы. Притихли, ожидая бури. Хозяйка вечером полезла в погреб за картошкой – увидела прутик, вылезла багровая от злости. Мы сжались от страха:

– Ах вы, твари! Я вас, как людей, пустила в свою избу, обогрела, спасла от смерти. А вы что творите? А я, дура, не пойму, почему у меня сверху вся картошка в дырочках. Вон что удумали. Вон отсюда, воры кавказские! Чтобы я вашего духа здесь больше не видела и не слышала!

Мать плачет, просит за нас прощения, валяется в ногах у хозяйки. Ничего не помогает! Немного сжалилась, оставила до утра, не выгнала на ночь. Утром чуть свет проснулись – хозяйка выгнала нас на улицу с нашими лохмотьями и повесила замок на дверях избы. Всё! Куда идти? Все ревём белугой. Куда деваться? Опять, как звери, в телятник? Мать плачет, рыдает – в злобе бьёт нас с Шуркой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.